

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

Богема



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Daphne du Maurier

THE PARASITES

Copyright © Daphne du Maurier, 1949

All rights reserved This edition is published by
arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency LLC

Перевод с английского Николая Тихонова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

Дюморье Д.

Богема : роман / Дафна Дюморье ;
пер. с англ. Н. Тихонова. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.

(Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-13002-9

16+

Книги английской писательницы Дафны Дюморье (1907–1989) стали классикой литературы XX века. Мастер тонкого психологического портрета и виртуоз интриги, Дюморье, как никто другой, умеет держать читателя в напряжении. Недаром одним из почитателей ее таланта был кинорежиссер Альфред Хичкок, снявший по ее произведениям знаменитые кинотриллеры, среди которых «Ребекка», «Птицы», «Трактир „Ямайка“»... В романе «Богема» (1949; ранее на русском языке роман выходил под названием «Паразиты») она рассказывает о жизни артистической богемы Англии между двумя мировыми войнами. Герои Дафны Дюморье — две сводные сестры и брат. Они выросли в семье знаменитых артистов — оперного певца и танцовщицы. От своих родителей молодые Делейни унаследуют искру таланта и посвятят себя искусству, но для каждого из них творчество станет способом укрыться от проблем и страстей настоящей жизни.

© Н. Тихонов (наследник), перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

Для тех, кому шапка впору.

Менабилли.

Весна, 1949

ПАРАЗИТЫ

Зоопаразиты — беспозвоночные животные, которые обитают в организме или на теле других животных.

В широком биологическом смысле паразитизм представляет собой отрицательную реакцию на борьбу за существование и всегда предполагает способ жизни, максимально близкий к линии наименьшего сопротивления...

Следует различать эпизодических и постоянных паразитов.

К первым относятся клопы и пиявки, которые, насытившись, обычно покидают своих хозяев. На эмбриональной стадии, до достижения полной зрелости, они ведут мигрирующий образ жизни, перемещаясь от хозяина к хозяину, после чего могут начать самостоятельное существование...

К последним относятся рыбные вши, которые, благодаря особому устройству полости рта и сложному аппарату сцепления, навсегда остаются в организме одного и того

же хозяина; они принадлежат к числу наиболее выродившихся из всех известных паразитов.

Питаясь живыми тканями или клетками своих хозяев, паразиты оказывают на них воздействие различной степени тяжести — от незначительных локальных повреждений до полного уничтожения.

Британская энциклопедия

Глава первая

Паразитами нас назвал Чарльз. В его устах это обвинение прозвучало как гром с ясного неба и показалось тем более странным и неожиданным, оттого что он из тех спокойных, сдержанных людей, которые не отличаются излишней словоохотливостью и даже собственное мнение высказывают лишь по поводу самых обыденных вещей. Он заявил это под вечер бесконечно длинного, промозглого воскресенья, когда мы, зевая и потягиваясь, читали у камина газеты. Его слова произвели на нас

впечатление разорвавшейся бомбы. Мы сидели в длинной, низкой комнате в Фартингзе, где из-за мелкого морозящего дождя было темней, чем обычно. Французские окна с мелкими переплетами почти не пропускали света; возможно, они и украшают фасад, но изнутри напоминают тюремную решетку и навевают уныние.

В углу медленно и неровно тикали высокие напольные часы: время от времени они издавали легкое покашливание, словно старик-астматик, затем со спокойной настойчивостью продолжали свой ход. Огонь в камине почти угас, смесь угля и кокса запеклась в плотный ком и не давала тепла; несколько небрежно брошенных поленьев едва

тлели, и только мехи могли вдохнуть в них жизнь. На полу валялись газеты, картонные конверты от пластинок и подушка с дивана. Возможно, все это еще больше усилило раздражение Чарльза. Он любил порядок, отличался методическим складом ума, и теперь, оглядываясь назад и понимая, чем были заняты в то время его мысли, помня, что он уже осознал необходимость принять какое-то решение относительно будущего, нетрудно догадаться, что все эти мелочи — беспорядок в комнате, атмосфера беспечности и легкомыслия, царившая в доме, когда Мария приезжала на выходные, атмосфера, которую он терпел столько лет, — послужили последней каплей, переполнившей чашу.

Мария, как всегда, лежала, растянувшись на диване. Ее глаза были закрыты — обычная форма защиты от нападок; тот, кто ее не знал, подумал бы, что она устала после долгой недели в Лондоне, нуждается в отдыхе и спит.

Ее правая рука с кольцом Найэла на среднем пальце утомленно свисала вниз, и кончики ногтей касались пола. Должно быть, Чарльз видел это из своего глубокого кресла напротив дивана; он знал это кольцо столько же, сколько саму Марию, постоянно видел его на ней и относился к нему прежде всего как к любой другой вещи, скажем гребню или браслету, с которыми Мария не расставалась чуть ли не с детства скорее по привычке, чем из-за воспоминаний. Но сейчас

вид этого бледного аквамарина в оправе, плотно обхватившей ее палец, убогого по сравнению с сапфировым обручальным кольцом, которое подарил ей он, Чарльз, не говоря о венчальном кольце — и то и другое она постоянно забывала на раковине в ванной комнате, — мог подлить масла в огонь. Помимо всего прочего, он знал, что Мария не спит. Пьеса, которую она читала, валялась на полу; страницы рукописи были измяты, одну из них погрыз щенок, на обложке виднелось грязное пятно, оставленное кем-то из детей. Через неделю пьесу вернут автору с запиской, которую Мария, как обычно, настукает на машинке, купленной по дешевке на распродаже бог знает когда. «Сколь ни пришлась

мне по душе Ваша пьеса, которую я нахожу чрезвычайно интересной и которую, по моему глубокому убеждению, ожидает большой успех, мне кажется, что я не вполне соответствую Вашему представлению об образе Риты...», и при всем своем разочаровании польщенный автор скажет друзьям: «Право же, она ей чрезвычайно понравилась» — и станет впредь думать о Марии с признательностью и едва ли не с любовью.

Но теперь никому не нужная, забытая рукопись валялась на полу вместе с воскресными газетами, и вряд ли Чарльз мог ответить на вопрос: а помнит ли о ней Мария, лежа на диване с закрытыми глазами? Нет, на этот вопрос ответа у него не

было, как и на другие: о чем она думает, о чем мечтает? Да и понимал ли он, что улыбка, коснувшаяся уголков ее рта и мгновенно растаявшая, не имела никакого отношения ни к нему, ни к его чувствам, ни ко всей их жизни. Она была отстраненной, нездешней, как улыбка той, которую он никогда не знал. Той, которую знал Найэл. Найэл, согнувшись, сидел на подоконнике. Он положил подбородок на колени и смотрел в пустоту, но он уловил эту улыбку и догадался, что она означает.

— Черное вечернее платье, — произнес он словно безо всякой причины, — облегающее, подчеркивающее все прелести фигуры. Разве подобные детали не

характеризуют человека? Ты дочитала до шестой страницы? Я — нет.

— До четвертой, — ответила Мария. Она по-прежнему не открывала глаз, и голос ее звучал словно из потустороннего мира. — Платье медленно скользит вниз и обнажает белые плечи. Ах, оставь. По-моему, это маленький человечек в пенсне, узкоплечий и с изрядным количеством золотых зубов.

— И любящий детей, — добавил Найэл.

— Одевается Санта-Клаусом, — продолжала Мария. — Но дети не поддаются на обман, потому что он забывает подогнуть брюки и они видны из-под его красной шубы.

— Прошлым летом он отправился на отдых во Францию.

— И там его осенила идея. В отеле в дальнем конце столовой он увидел одну женщину. Разумеется, ничего не произошло. Но он не мог отвести глаз от ее бюста.

— Однако, поняв, что это не соответствует его системе взглядов, почувствовал себя лучше.

— Он — да, но отнюдь не собака. Сегодня пса стошнило под кедром. Бедняга съел девяную страницу.

Легкое движение в кресле — Чарльз изменил позу и расправил страницы спортивного обозрения «Санди таймс» — могло бы предупредить их, что он раздражен, но ни Мария, ни Найэл не обратили на это внимания.

Только Селия — она всегда интуитивно чувствовала приближение бури — подняла голову от корзинки с

рукоделием и бросила на нас предостерегающий взгляд; он остался без внимания. Будь мы только втроем, она присоединилась бы к нам — в силу привычки или чтобы доставить себе удовольствие; ведь так было всегда, со времен нашего детства, с самого начала. Но она была гостьей, редким посетителем, гостьей в доме Чарльза. Селия инстинктивно чувствовала, что Чарльзу неприятен шуточный тон Найэла и Марии: он не только не разделял его, но и не понимал; вышучивание автора, чья пьеса с дурацким сюжетом валялась на полу, к тому же разорванная щенком, вызывало у него раздражение. Все это казалось ему довольно дешевым и отнюдь не смешным.

Еще мгновение, подумала Селия, видя, как Найэл распрямился, и он, зевая и хмурясь, подойдет к роялю, бросит сосредоточенный и вместе с тем ничего не выражающий взгляд на клавиатуру: ведь он думает — впрочем, о чем он думает? — возможно, вообще ни о чем, хотя, быть может... о близком ужине или о том, что где-то в спальне завалялась пачка сигарет, — и начнет играть, сперва тихо, почти беззвучно, и будет напевать под собственный аккомпанемент — ведь это его привычка лет с двенадцати, когда он играл на старом французском пианино, — а Мария, так и не открывая глаз, выпрямится на диване, заложит руки за голову и чуть слышно подпоет мелодии, которую

наигрывает Найэл. Мелодия, да, мелодия: сперва поведет ее он — Мария пойдет за ним. Но вот она нарушает мелодическую линию, и голос ее изливается в иной песенной тональности, в иной мелодии. И Найэл подхватит мелодическую основу и в призрачно прекрасной мелодии сольется с той, которая поет под его аккомпанемент.

Селия подумала, что надо тем или иным способом остановить Найэла и, как бы неуклюже это ни выглядело, не дать ему подойти к роялю. Не потому, что Чарльзу не понравится его музыка, а потому, что порыв брата послужит еще одним неуместным подтверждением того, что ни муж, ни сестра, ни дети, а только он, Найэл, знает и понимает малейшие движения

наглухо закрытой для остальных души Марии. А ведь именно это с каждым годом все сильнее мучило Чарльза.

Селия отложила рабочую корзинку — по выходным она обычно занималась в Фартингзе штопаньем детских носков, бедняжке Полли одной с этим делом было не справиться, а просить Марию никому и в голову не приходило — и поспешно, прежде чем Найэл сел за рояль (он уже открывал клавиатуру), обратилась к Чарльзу:

— Едва ли кто-нибудь из нас в последнее время занимался акростихами. Бывали дни, когда мы с головой зарывались в словари, энциклопедии и прочие книги. Каким словом мы займемся сегодня, Чарльз?

После непродолжительной паузы Чарльз ответил:

— Я имею в виду вовсе не акrostих. В кроссворде мое внимание привлекло слово из семи букв.

— И что же это такое?

— Беспозвоночное животное, живущее за счет другого животного.

Найэл взял первый аккорд.

— Паразит, — сказал он.

И здесь грянул гром. Чарльз бросил газету на пол и встал с кресла. Его лицо побледнело, каждый мускул напрягся, а рот превратился в тонкую, жесткую линию. Раньше мы никогда его таким не видели.

— Совершенно верно, — сказал он, — паразит. И это вы, вы, все трое. Вся компания. Всегда ими были и всегда будете. Вас ничто не изменит, не

может изменить. Вы вдвойне, втройне паразиты: во-первых, потому, что с самого детства спекулируете на той крупнице таланта, которую вам посчастливилось унаследовать от ваших фантазеров-родителей; во-вторых, потому, что ни один из вас ни разу в жизни не удосужился заняться пусть незаметным, но честным трудом; и, в-третьих, потому, что вся ваша троица живет за счет друг друга и обитает в мире грез и фантазий, который вы сами для себя сотворили и который не имеет ничего общего ни с земной реальностью, ни с небесной.

Чарльз стоял, пристально глядя на нас с высоты своего роста. Ни один из нас не проронил ни звука. То были мучительные, тягостные мгновения, чему уж тут смеяться. Обвинение

носило слишком личный характер. Мария открыла глаза, снова откинулась на подушку и смотрела на Чарльза с каким-то непонятным смущением, словно ребенок, которого поймали на озорстве и он не знает, какое наказание за этим последует. Найэл застыл у рояля, вперив взгляд в пустоту. Селия опустила руки на колени и покорно ожидала следующего удара. Как она жалела, что сняла очки и отложила их вместе с рабочей корзинкой — без них она чувствовала себя раздетой. Они всегда служили ей своеобразным орудием защиты.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Мария. — Как это мы обитаем в мире грез и фантазий?

В ее голосе прозвучало недоумение

— его обладательнице очень подошло бы невинное личико с широко открытыми изумленными глазами. Найэл и Селия мгновенно узнали это выражение. Не исключено, что узнал его и Чарльз, ведь после стольких лет совместной жизни, возможно, он уже не поддавался на обман.

Словно прожорливая рыба, он с радостью заглотил наживку.

— Только там ты всегда и обитала, — ответил Чарльз, — да и вообще ты не личность, не женщина, обладающая собственной, присущей только тебе индивидуальностью; ты смешение всех персонажей, которых тебе доводилось когда-либо играть на сцене. Твои мысли и чувства меняются с каждой новой ролью. Такой женщины, как Мария, не

существует, никогда не существовало. Об этом знают даже твои дети. Вот почему ты их очаровываешь только на два дня, а потом они бегут в детскую к Полли: ведь Полли настоящая, подлинная, живая.

Есть вещи, подумала Селия, которые мужчина и женщина говорят друг другу только в спальне. Но не в гостиной, не в воскресенье вечером. О Мария, пожалуйста, не отвечай ему, не распаляй его гнев, который накапливался месяцы, годы... Ведь теперь ясно, как он несчастлив, несчастлив давно, о чем мы даже не догадывались или чего просто не понимали... И она ринулась в битву. Она должна защитить Найэла и Марию. Она всегда так делала.

— Я очень хорошо понимаю,

Чарльз, что вы имеете в виду, — сказала Селия. — Конечно, Мария меняется от роли к роли, но ей это было присуще и в детстве; она всегда была не только Марией, но кем-то еще. Однако несправедливо говорить, что она не работает. Кому, как не вам, это знать, ведь вы бывали, во всяком случае раньше, на ее репетициях — это ее жизнь, ее профессия, которой она отдает себя целиком. И вы должны это признать.

Чарльз рассмеялся, и по его смеху Мария поняла, что Селия не только не исправила, но еще больше осложнила положение.

Когда-то Мария умела совладать с этим смехом: она вскакивала с дивана, обнимала Чарльза за шею и говорила: «Не будь таким

глупеньким, дорогой. Какая муха тебя укусила?» И увлекала его к хозяйственным постройкам, притворяясь, будто ее очень интересует какой-нибудь старый трактор, загром с зерном или черепица, упавшая с крыши флигеля, — все, что угодно, лишь бы не омрачать первые шаги их совместной жизни. Теперь положение изменилось, старые уловки ни к чему не приведут, и уж конечно, подумала Мария, в столь поздний час он не станет устраивать сцен ревности к Найэлу; это было бы глупо с его стороны, да к тому же и бессмысленно — пора бы ему знать, что Найэл как бы часть меня самой, так было всегда. Я никогда не позволяла этой части вмешиваться в

мою личную жизнь, мою работу да и вообще ни во что. Она никогда не доставляла неприятности ни Чарльзу, ни другим, просто Найэл и я, я и Найэл... Затем ее мысли смешались в бессвязный клубок, и она вдруг чего-то испугалась, словно ребенок, попавший в темную комнату.

— Работа? — переспросил Чарльз.
— Называйте это работой, если вам так нравится. Работа цирковой собачки, которую щенком приучили прыгать за подачку и которая автоматически прыгает до конца дней своих, стоит под куполом зажечься огням, а публике начать аплодировать.

Как жаль, что Чарльз никогда раньше так не говорил, подумал Найэл. Мы могли бы стать друзьями.

Я отлично понимаю его. В подобном разговоре я бы с удовольствием принял участие эдак в половине пятого утра, когда все вокруг крепко под мухой, а я трезв как стеклышко, но сейчас в доме у Чарльза он представляется мне крайне неуместным, даже ужасным, как будто священник, к которому испытываешь искреннее уважение, принялся стаскивать с себя брюки посреди церкви.

— Но людям доставляет удовольствие смотреть на эту собачку, — быстро проговорил он, желая отвлечь Чарльза от скользкой темы. — Они для того и ходят в цирк, чтобы развеяться. Мария предлагает им тот же наркотик в театре, а я — и в немалых дозах — всем мальчишкам-

рассыльным, которые насвистывают мои мелодии. По-моему, вы употребили не то слово. Мы лоточники, мелкие торговцы, а не паразиты.

Из противоположного конца комнаты Чарльз посмотрел на сидящего у рояля Найэла. Вот оно, ребята, подумал Найэл, вот то, чего я ждал всю жизнь, сокрушительный удар ниже пояса; как трагично, что нанесет его старина Чарльз.

— Вы?..

Какое нескрываемое презрение, какая горькая затаенная ревность в его голосе.

— Так кто же я? — спросил Найэл, и подобно тому, как фасад дома теряет свою прелесть, когда закрываются ставни, так и его

выразительное лицо, утратив озарявший его внутренний свет, превратилось в безжизненную маску.

— Вы шут гороховый, — ответил Чарльз, — и у вас хватит ума понять это, что, должно быть, крайне неприятно.

О нет... нет... подумала Селия, чем дальше, тем хуже, и почему именно сегодня? Это моя вина — зачем я спросила про акrostих. Надо было предложить перед чаем прогуляться по парку или сходить в лес.

Мария поднялась с дивана и подбросила в камин большое полено. Она размышляла о том, как лучше поступить: придумать какую-нибудь дурацкую шутку или броситься за экран и устроить сцену со слезами, чтобы разрядить атмосферу и отвлечь

внимание на себя, — испытанный еще во времена их детства прием, всегда достигавший цели, когда у Найэла были неприятности с Мамой, Папой или старой Трудой. Или выскочить из дому, уехать на машине в Лондон и забыть об этом злополучном воскресенье? А забудет она скоро. Она все забывала, ничто надолго не задерживалось в ее памяти. Но Найэл спас положение сам. Он опустил крышку рояля, подошел к окну и остановился, глядя на деревья в дальнем конце лужайки.

За окном было тихо и спокойно, как всегда в те короткие мгновения, что предшествуют приходу темноты на склоне недолгого зимнего дня. Дождь прекратился, но теперь это было не важно. На опушке леса группы

деревьев казались особенно прекрасными и уныло-одинокими, а голая ветка старой высохшей ели, словно чья-то изогнутая рука, в причудливом движении вздымалась к небу. Мокрый скворец искал червей в сырой траве. Эту картину Найэл знал и любил; он всегда любовался ею, когда ему случалось бывать здесь одному, и непременно запечатлел бы ее на бумаге, умея он рисовать, перенес бы на холст, обладай он даром живописца, отобразил бы в переплетениях музыкальной ткани, если бы звуки, изо дня в день рождавшиеся у него в голове, выливались в симфонию. Но этого не происходило. Звуки сливались в брэнчание, в расхожие мелодии, которые мальчишки-рассыльные

насвистывали на перекрестках да молоденькие смешливые продавщицы напевали в магазинах, — жалкий дешевый вздор, который забывался через неделю-другую, вот и вся его слава. Нет, он не обладал истинным дарованием — лишь крупницей унаследованного таланта, которая позволяла ему сплестать мелодию за мелодией, без усилий, даже без особой к тому склонности, и заработать состояние, к чему он отнюдь не стремился.

— Вы правы, — сказал он Чарльзу, — целиком и полностью правы. Я шут гороховый.

Какое-то мгновение он стоял, занятый своими, одному ему ведомыми мыслями, как в те далекие годы детства, в парижском отеле,

когда Мама не обращала на него внимания и он, маленький мальчик, делал вид, что ему это безразлично, подбегал к окну, смотрел на улицу и плевал на головы прохожих. Затем выражение его лица изменилось, он запустил пальцы в волосы и улыбнулся.

— Вы победили, Чарльз, — сказал он, — паразиты повержены. Но если я хоть немного помню биологию, те, за чей счет они живут, в конце концов тоже умирают.

Найэл снова подошел к роялю и сел на стул.

— Впрочем, не важно, — заметил он. — Вы подали мне идею еще одной пустячной песенки. — И, по-прежнему улыбаясь Чарльзу, взял свой любимый аккорд в своей

ЛЮБИМОЙ ТОНАЛЬНОСТИ.

Так давайте же питаться
Мы друг другом натошак¹, —

запел он вполголоса, и чувственный танцевальный ритм глупой песенки ворвался в зловещую атмосферу темной гостиной подобно внезапному взрыву детского смеха.

Чарльз резко повернулся и вышел из комнаты.

И мы остались втроем.

¹ Перевод Е. З. Фрадкиной.

Глава вторая

Люди всегда судачили о нас, даже когда мы были детьми. Куда бы мы ни поехали, везде мы вызывали странную враждебность окружающих. Во время Первой мировой войны и сразу после нее другие дети отличались вежливостью и хорошими манерами; мы же демонстрировали отсутствие всякого воспитания и полную необузданность. Эти ужасные Делейни... Марию не любили за то, что она копировала всех и каждого, и не всегда исподтишка. Она обладала необыкновенным даром

преувеличивать малейшие недостатки или характерные особенности того или иного человека: поворот головы, пожатие плеч, интонацию голоса; и несчастная жертва всегда знала об этом, знала, что взгляд больших синих глаз Марии, с виду таких невинных и мечтательных, на самом деле сулит какую-нибудь дьявольскую каверзу.

Найэл пользовался меньшей неприязнью: отношение к нему зависело от того, что он говорил, но главное — о чем умалчивал. Молчание этого застенчивого, неразговорчивого ребенка с печальным славянским лицом было исполнено значения. Встречая его в первый раз, взрослый чувствовал, что подвергается внимательному

изучению, оценке и безоговорочному сбрасыванию со счетов. В справедливости этой догадки его убеждали взгляды, которыми Найэл обменивался с Марией, и чуть позже до его слуха долетали язвительные смешки.

Селию как-то терпели, — к счастью для себя, она унаследовала все обаяние обоих родителей и ни одного их недостатка. У нее было большое, щедрое сердце Папы без его эмоциональной несдержанности и изящные манеры Мамы без ее разрушительной силы. Наследственным достоинством был и ее талант в рисовании, который позднее развился в полной мере. Ее зарисовки никогда не напоминали карикатуры — что непременно

случилось бы с Марией, умея она рисовать; их чистоту никогда не портила горечь, которую непременно привнес бы в свои работы Найэл. Ее недостатком был общий недостаток всех маленьких детей — склонность к слезам, к нытью, страсть забираться взрослым на колени и клянчить, а поскольку она не обладала ни грацией, ни красотой Марии и была упитанной, краснощекой девочкой с волосами мышинового цвета, тот, на чье внимание она претендовала, вскоре начинал ощущать раздражение; ему хотелось отогнать Селию, словно назойливую собачонку, однако, увидев в ее глазах слезы, он тут же раскаивался.

Нам слишком во многом потакали, и это всех шокировало. Нам позволяли

есть самую изысканную пищу, пить вино, не ложиться спать допоздна, самостоятельно бродить по Лондону, Парижу и другим городам, в которых нам приходилось жить. С самого раннего возраста мы росли космополитами, с поверхностным знанием нескольких языков, ни на одном из которых так и не научились говорить как следует.

Родственные узы, связывавшие нас, были весьма запутанны, разобраться в них так никто и не смог, что едва ли удивительно. Поговаривали, что мы незаконнорожденные, что мы приемыши, что мы маленькие скелеты из шкафов наших Папы и Мамы, — возможно, в этом и была доля истины, — что мы беспризорники, что мы сироты, что

мы королевские отпрыски. Но почему у Марии были синие глаза и светлые волосы Папы и тем не менее в движениях ее была легкая грация, которой он не отличался? И почему Найэл был темноволос, гибок и невысок, с такой же, как у Мамы, светлой кожей, и тем не менее его выдающиеся скулы не напоминали никого из близких? И почему Селия иногда вытягивала губы, как Мария, и делалась мрачной, как Найэл, если их не связывало никакое родство?

Когда мы были маленькими, мы тоже ломали голову надо всем этим и приставали к взрослым с вопросами; затем забывали о наших сомнениях: в конце концов, думали мы, так ли это важно — ведь с самого начала мы никого другого не помнили; Папа был

нашим отцом, а Мама нашей матерью, и мы все трое принадлежали им.

Правда так проста, когда ее узнаешь и поймешь.

Когда перед Первой мировой войной Папа пел в Вене, он влюбился в одну маленькую венскую актрису; у нее совсем не было голоса, но поскольку она была капризна, хороша собой и все ее обожали, то ей дали произнести одну фразу во втором акте какой-то оперетки. Возможно, Папа и женился на ней; нас это не волновало и даже не интересовало. Но после того, как они год прожили вместе, родилась Мария, а маленькая венская актриса умерла.

Тем временем Мама танцевала в Лондоне и Париже. Она уже порвала с

балетом, в традициях которого была воспитана, и превратилась в единственную в своем роде, незабываемую танцовщицу. В какой бы город она ни приезжала, ее появление заставляло публику до отказа заполнять театральные залы. Каждое движение Мама было сама поэзия, каждый жест — воплощенная музыка: на освещенной слабым призрачным светом сцене у нее не было партнера, она всегда танцевала одна. Но кто-то ведь был отцом Найэла? Пианист, объясняла старая Труда, которому Мама однажды позволила тайком прожить с ней несколько недель и любить ее, а потом отослала прочь: кто-то сказал ей, что у него туберкулез, а эта болезнь заразна.

«Но туберкулезом она вовсе и не заразилась, — сухо и как бы неодобрительно сообщила нам Труда. — Вместо этого у нее появился мой мальчик, за что она так никогда его и не простила».

«Моим мальчиком» был, разумеется, Найэл, и Труда как Мамина костюмерша сразу взяла его на свое попечение. Она его мыла, одевала, пеленала, кормила из рожка, иными словами, делала для него все то, что должна была бы делать Мама; а Мама тем временем танцевала одна, без партнера, она улыбалась своей таинственной, единственной в своем роде улыбкой, давно забыв о пианисте, который исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и ее нисколько не интересовало и не

тревожило, умер он от туберкулеза или нет.

А потом они встретились в Лондоне — Папа и Мама, — когда Папа пел в «Альберт-Холле», а Мама танцевала в «Ковент-Гардене». Их встреча была экстазом и бурей: такое, сказала Труда, могло случиться только с этими двумя, больше ни с кем; и в ее глухом голосе неожиданно прозвучала поразительная многозначительность, словно она хотела показать, насколько глубоко понимает важность этого события. Они тут же влюбились друг в друга, поженились, и супружество принесло им обоим несказанное счастье, хотя порой, возможно, доводило до отчаяния (никто не вдавался в этот вопрос), принесло оно им и Селию —

первого для обоих законного отпрыска.

Вот так мы трое оказались и родственниками, и не родственниками. Одна сводная сестра, один сводный брат и одна единокровная сестра обоим; трудно придумать такую мешанину, даже если очень постараться. И примерно по году разницы между нами, потому мы все и помнили только ту жизнь, которую прожили вместе.

«Не видать от этого добра», — порой сетовала Труда в гостиной одного из многочисленных грязных отелей, которой временно предстояло служить нам детской и классной, или в меблированных комнатах на верхнем этаже какого-нибудь обшарпанного здания, которые Папа

и Мама сняли на время сезона или турне. «Не видать добра от этой смеси пород и кровей. Вы вредны друг другу, и так будет всегда. Или вы сами погубите друг друга, — говорила она, когда мы особенно капризничали и озорничали, — или вас кто-нибудь угробит». После чего переходила к пословицам и изречениям, которые были лишены всякого смысла, но звучали довольно жутко. Вроде вот этих: «Яблоко от яблони недалеко падает», «Свой свояка видит издалека», «Только кошке игрушки, а мышке слезки». Труда ничего не могла поделывать с Марией. Мария постоянно подначивала ее. «Ты старшая, — говорила ей Труда. — Почему бы тебе не подать пример?» Мария тут же

передразнивала ее: пальцами растягивала уголки губ, отчего ее рот становился похож на тонкий рот Труды, выпячивала подбородок и выставляла правое плечо немного вперед.

«Я расскажу о тебе Папе», — обещала Труды, а потом целый день ворчала, издавала глухие стоны и что-то бубнила себе под нос. Но когда Папа приходил нас проведать, помалкивала, и его приход встречала буря восторга и дурачеств; затем нас брали в гостиную, где мы скакали, кувыркались на полу и изображали диких медведей, к немалому унынию посетителей, пришедших поглазеть на Маму.

Но худшее, разумеется не для нас, а для посетителей, было впереди. Если

мы останавливались в отеле, Папа разрешал нам носиться по коридорам, стучаться в двери, менять местами выставленную из комнат обувь постояльцев, нажимать кнопки звонков, подсматривать сквозь балюстраду и строить рожи. Жаловаться было бесполезно. Ни один управляющий не решился бы потерять покровительство Папы и Мамы, ведь они одним своим присутствием поднимали престиж отеля или меблированных комнат в любом городе, в любой стране. Теперь на афишах их имена, разумеется, стояли рядом, они участвовали в одной программе, и представление делилось на две части. Порой они снимали театр на два или три месяца подряд, а то и на целый

сезон.

«Вы слышали, как он поет?», «Вы видели, как она танцует?», и в каждом городе обсуждался вопрос о том, кто из них более великий артист, кто больший мастер, кто задает тон всему представлению.

Папин лакей Андре говорил, что Папа. Что Папа делал все. Папа обговаривал каждую деталь, вплоть до того, когда давать занавес, определял, из какой кулисы должна выйти Мама, как она будет выглядеть, что на ней будет надето. Труда, хранившая неизменную верность Маме и враждовавшая с Андре, заявляла, что Папа не имеет ко всему этому никакого отношения и лишь выполняет то, что ему приказывает Мама, что Мама — гений, а Папа

всего-навсего блестящий дилетант. Кто из них был прав, мы, трое детей, так и не узнали, да нас это и не слишком интересовало. Зато мы знали, что Папа самый великий певец и что от сотворения Мира никто не двигался и не танцевал так, как Мама.

Все это весьма подхлестывало наше детское зазнайство. С младенчества слышали мы гром аплодисментов. Как маленькие пажи в королевской свите, переезжали из страны в страну. Воздух, которым мы дышали, был напоен лестью, успех дней прошлых и будущих кружил нам головы.

Спокойный, размеренный уклад детской жизни был нам неведом. Ведь если вчера мы были в Лондоне, то завтра последует Париж, послезавтра Рим.

Постоянно новые звуки, новые лица, суета, неразбериха; и в каждом городе источник и цель нашей жизни — театр. Иногда до чрезмерности пышный, сияющий золотом оперный театр, иногда убогий, грязноватый барак, но, каким бы он ни был, он всегда принадлежал нам то недолгое время, на которое его сняли, всегда другой, но неизменно знакомый и близкий. Этот запах театральной пыли и плесени... до сих пор он время от времени преследует каждого из нас, Мария же никогда не избавится от него. Двустворчатая дверь с перекладиной посередине, холодный коридор; эти гулкие лестницы и спуск в бездну. Объявления на стенах, которые никто никогда не читает; крадущийся кот,

который задирает хвост, мяукает и исчезает; ржавое пожарное ведро, куда все бросают окурки. На первый взгляд, все это одинаково, в любом городе, в любой стране. Висящие у входа афиши, напечатанные иногда черной, иногда красной краской, с именами Папы и Мама и фотографиями только Мамиными и никогда Папиными — оба разделяли это странное суеверие.

Мы всегда пребывали *en famille*² в двух машинах. Папа и Мама, мы трое, Труда, Андре, собаки, кошки, птицы, которые в то время пользовались нашим расположением, а также друзья или прихлебатели, пользовавшиеся, опять-таки временно, расположением наших родителей. Затем начинался штурм.

Делейни прибыли. Прощай, порядок. Да здравствует хаос.

С торжествующим кличем, как дикие индейцы, мы высыпали из машин. Антрепренер-иностранец, улыбающийся, подобострастный, с поклоном приветствовал нас, но в глазах его светился неподдельный ужас при виде животных, птиц и, главное, беснующихся детей.

— Добро пожаловать, месье, добро пожаловать, мадам, — начал он, дрожа нервной дрожью от вида клетки с попугаем и от внезапного взрыва хлопушки под самым своим носом; но не успел он продолжить традиционную приветственную речь, как его и без того съезжившееся туловище растаяло, почти исчезло. Это Папа сокрушительно хлопнул его

по плечу.

— А вот и мы, мой дорогой, вот и мы, — сказал Папа. Его шляпа съехала набок, пальто, как плащ, свисало с одного плеча. — Мы пишем здоровьем и силой, как древние греки. Осторожней с этим чемоданом. В нем гуркхский нож³. У вас есть двор или загон, куда можно выпустить кроликов? Дети наотрез отказались расставаться с кроликами.

И антрепренер, затопленный нескончаемым потоком слов и смеха, льющихся из уст Папы, а возможно, и уstraшенный его ростом — шесть футов и четыре дюйма, — как вьючное животное направился на прилегающий к театру двор, таща под мышками клетку с кроликами и кипу тростей, бит для гольфа и восточных

ножей.

— Все предоставьте мне, мой дорогой, — радостно сказал Папа. — Вам ничего не придется делать. Все предоставьте мне. Но прежде о главном. Какую комнату вы намерены предложить мадам?

— Лучшую, месье Делейни, разумеется, лучшую, — ответил антрепренер, наступив на хвост щенку, и немного позднее, придя в себя и дав указания относительно размещения багажа и живности, повел нас вниз, в ближайшую к сцене гримуборную.

Но Мама и Труда уже освоились на новом месте. Они выносили в коридор зеркала, выдвигали за дверь туалетные столики, срывали портьеры.

— Я не могу этим пользоваться. Все это надо убрать, — объявила Мама.

— Конечно, дорогая. Все, что хочешь. Наш друг за всем присмотрит, — сказал Папа, оборачиваясь к антрепренеру и снова хлопая его по плечу. — Главное, чтобы тебе было удобно, дорогая.

Антрепренер заикался, извинялся, изворачивался, обещал Маме золотые горы. Она обратила на него взгляд своих холодных темных глаз и сказала: — Полагаю, вы понимаете, что к завтрашнему утру у меня должно быть все? Я не могу репетировать, пока в моей уборной не будет голубых портьер. И никаких эмалированных кувшинов и тазов. Все должно быть фаянсовое.

— Да, мадам.

С упавшим сердцем слушал антрепренер перечень абсолютно необходимых предметов, а когда Мама подошла к концу, то в награду удостоила его улыбки — улыбки, которую редко можно было увидеть. Но если это случалось, то она сулила райское блаженство.

Мы слушали их разговор, сгорая от нетерпения, и, когда он закончился, с победным кличем бросились в коридор за сценой.

— Лови меня, Найэл! Не поймаешь, не поймаешь, — крикнула Мария и, миновав дверь на сцену и коридор перед зрительным залом, вбежала в темный партер. Прыгая через кресло, она порвала сиденье и, преследуемая Найэлом, стала бегать между рядами, срывая пыльные чехлы и бросая их на

пол. Занавес был поднят, и беспомощный, лишившийся дара речи антрепренер стоял на сцене, одним глазом уставясь на нас, другим на Папу.

— Подождите меня, подождите, — просила Селия и, не слишком проворная по причине своей полноты и коротких ножек, как всегда, упала. За падением последовал крик, долетевший до гримуборной.

— Посмотрите, что с ребенком, Труда, — скорее всего сказала Мама, как всегда спокойная и невозмутимая, зная, что если на ребенка свалился большой театральный канделябр, то, значит, одним малышом меньше придется возить с собой, и, вывалив на пол содержимое очередного саквояжа, чтобы Труда разобрала его,

после того как отыщет живую Селию либо ее труп, она направилась на сцену и вынесла о ней самое нелестное мнение, объявив, что она не подходит для человеческих существ, как уже было с гримуборной.

— Папа, Мама, посмотрите на меня, посмотрите на меня! — крикнула Мария.

Она стояла у первого ряда балкона, закинув ногу на барьер. Но Папа и Мама, занятые на сцене бурным разговором с несколькими мужчинами, исполнявшими обязанности плотников, электриков, помощников режиссера, не обратили ни малейшего внимания на грозящую ей опасность.

— Я вижу тебя, дорогая, вижу, —

сказал Папа, продолжая разговор и даже не взглянув в сторону балкона.

Для первого штурма, пожалуй, хватит. Плотники были угрюмы, электрики вымотаны, антрепренер не скрывал отчаяния, уборщики богохульствовали. Делейни — ни то, ни другое, ни третье.

Разгоряченные, радостные, предвкушая изысканный ужин, мы отбыли из театра. И наше представление будет повторяться в любом отеле, в любых номерах, везде, где бы мы ни остановились.

В десять часов вечера, раздувшиеся после ужина из четырех блюд, съеденного бок о бок с Папой и Мамой в ресторане, где нас обслуживали дрожащие официанты, которые не выносили нас и любили

наших родителей — особенно Папу, — мы все еще прыгали и кувыркались на кроватях. Кувшины с водой валяются на полу, простыни перемазаны кусками прихваченного из ресторана торта, и вот Мария — зачинщица всех проказ — предлагает Найэлу экспедицию по коридору — подсмотреть в замочную скважину, как раздеваются другие постояльцы.

В ночных рубашках мы осторожно двинулись по коридору. Мария со светлыми, вьющимися, короткими, как у мальчика, волосами, в рубашке, заправленной в полосатые пижамные брюки Найэла; Найэл плетется за ней в хлопающих по пяткам тапках Труды — свои он так и не нашел, и в арьергарде Селия волочет по полу набитую соломой обезьяну.

— Первая я, я это придумала, — сказала Мария.

Она оттолкнула Найэла от закрытой двери, опустилась на колени и прильнула глазом к замочной скважине. Найэл и Селия смотрели на нее как замороженные.

— Это старик, — прошептала Мария, — он снимает сорочку.

Но не успела она продолжить описание, как была сметена на пол Трудой, которая незаметно подкралась к нам.

— Нет, нет, мисс, — сказала Труда. — Может быть, в свое время вы и пойдете по этой дорожке, но не раньше, чем я перестану за вас отвечать.

И тяжелая рука Труды опустилась на восхитительные ягодицы Марии, а

кулак Марии взметнулся к курносому недовольному лицу Труды. И нас, извивающихся, протестующих, приволокли обратно в кровати; мы растянулись на них и, утомленные долгим днем, заснули, как щенки. Нас приучили ценить тишину только по утрам. Папу и Маму нельзя беспокоить. Будь то на квартире, в отеле или в меблированных комнатах — утром мы разговаривали шепотом и ходили на цыпочках. По сей день мы не встаем рано. Мы лежим в постели, пока солнце не поднимется достаточно высоко. Детская привычка укоренилась в нас. Это было первое правило, которое мы не могли нарушать, второе было еще строже. Соблюдать тишину в театре во время репетиции. Никакой беготни по

коридорам. Никакого прыганья в партере. Мы сидели, как немые, в каком-нибудь дальнем углу, чаще всего на первом ярусе или, когда дело было в Париже, в одной из лож бенуара.

Селия, единственная из нас любившая кукол и игрушки, сидела на полу с двумя или тремя из них и, следя за движениями на сцене, придавала им различные позы.

Медведь был Папой — широкогрудый, высокий, с рукой, прижатой к сердцу; молоденькая японская гейша с черными, завязанными узлом волосами, как у Мамы во время репетиции, кланялась, делала реверансы и стояла на одной ноге. Когда Селия уставала от этого занятия, она начинала играть в дом;

кресла в ложе превращались в магазины, в квартиры, и едва уловимым шепотом, слишком тихим, чтобы его слышали на сцене, она вела беседу со своими куклами.

Мария уже тогда, как Папа и Мама, с пылом и страстью отдавалась репетиции. В конце партера или на первом ярусе она пантомимически воспроизводила все, что происходило на сцене, при этом старалась выбрать место у зеркала.

Так она могла одновременно смотреть и на себя, и на Папу или Маму, которые находились на сцене; это вдвойне захватывало; она была певицей, она была балериной, она была тенью среди других теней. Затянутые пыльными чехлами кресла партера были ее зрителями; густой

мрак пустого зала укрывал ее, ласкал, не находил ни одного изъяна в том, что она делает. Забывшись в безмолвном экстазе, она простирала руки к зеркалу, как Нарцисс к пруду, и ее отражение улыбалось ей, плакало вместе с ней, но все это время частичка ее мозга наблюдала, критиковала, отмечала: Папа послал звук так, что нежный шепот, которым кончалась песня, долетел до того места, где она стояла.

Разумеется, в вечер премьеры Папа взял ее, эту высокую ноту, без малейшего усилия, и вот он стоит с легкой улыбкой на губах, затем жест руки, как бы говорящий: «Возьмите ее, она ваша». И непринужденной, слегка покачивающейся походкой уходит за кулисы, едва заметным

движением плеч и спины недвусмысленно давая понять: «Право, не стоит докучать мне просьбами спеть еще». Аплодисменты, настоящая овация — и он снова выходит на сцену, пожимая плечами, стараясь скрыть зевок. Зрители кричат: «Делейни! Делейни!» — и смеются, восхищенные тем, что есть человек, который за их же деньги может относиться к ним с таким презрением и столь мало заботиться об аплодисментах. Они не знали, как знала это Мария, знали Найэл и Селия, что эти улыбки, эти уходы за кулисы, эти жесты, рассчитанные и отрепетированные, — неотъемлемая часть представления.

«Еще раз», — говорил он во время

репетиции, и старый Салливан, дирижер, который сопровождал нас во всех турне, где бы мы ни были, на мгновение застывал с палочкой в поднятой руке, собирая оркестр, — и вновь звучал последний стих песни, и повторялись те же модуляции, те же жесты; а в глубине галереи первого яруса во тьме на цыпочках стояла Мария — мерцающая тень на поверхности зеркала.

— Это все. Благодарю вас.

И старый Салливан вынимал носовой платок, смахивал пот со лба, протирал пенсне, а Папа уже пересекал сцену, чтобы поговорить с Мамой, которая вернулась от парикмахера, портного или массажистки. Мама никогда не репетировала по утрам, и на ней была

либо новая меховая пелерина, либо новая шляпка с перьями. С ее появлением в театре воцарялась совершенно иная атмосфера: появлялась напряженность, дающая новый импульс к работе, но сковывающая чувства. Где бы Мама ни выступала, она всегда приносила ее с собой.

Салливан надел пенсне и выпрямился за пультом. Найэл, который стоял, склонившись над пюпитром первой скрипки, и, зачарованный неразборчивыми, ничего не говорящими ему значками, старался прочесть партитуру, каким-то внутренним чутьем мгновенно догадался о появлении Мама и поднял глаза, сразу почувствовав себя виноватым: он знал, что Маме не

нравится, когда он сидит в оркестре. Он услышал, как она говорит Папе о невыносимом сквозняке на сцене, о необходимости что-нибудь сделать до начала репетиции, уловил тонкий аромат ее духов, и вдруг ему до странной, озадачившей его самого боли в сердце захотелось стать театральным котом, который только что пробрался на сцену и, мурлыча, выгнув спину дугой, стоял около Мама и своей лоснящейся головкой терся о ее ногу.

— Привет, Мине... Мине.

Мама наклонилась, подняла изогнувшего хвост кота, и тот уткнулся головкой в широкий темный воротник ее меховой пелерины. Мама гладила его, что-то шептала ему. Кот и меховая пелерина слились в одно

целое, и тут Найэл, подчиняясь внезапному порыву, наклонился над пианино, которое стояло в оркестровой яме, и обеими руками ударил по клавишам; инструмент взорвался яростным, диссонирующим громом.

— Найэл? — Мама подошла к рампе и посмотрела вниз, голос ее утратил недавнюю мягкость, теперь он звучал жестко и холодно. — Как ты смеешь? Немедленно иди на сцену.

И старый Салливан с виноватым видом поднял Найэла над головой первой скрипки и поставил на сцену перед Мамой.

Она ему ничего не сделала. Он так надеялся, что его хотя бы ударят, но напрасно. Она отвернулась, не обращая на него внимания, и

разговаривала с Папой, обсуждая какую-то деталь дневной репетиции. Рядом с Найэлом стояла Труда и отряхивала его костюм, измявшийся и запылившийся, пока он стоял на коленях перед стулом первой скрипки, а в это время на сцену, пританцовывая, вышли Мария и Селия со следами грязных пальцев на лице и с паутиной в волосах.

² Всей семьей (*фр.*).

³ *Гуркхский нож* — нож особой формы, используемый жителями Непала.

Глава третья

Когда Чарльз вышел из комнаты, Найэл перестал играть.

— У меня сейчас то же странное чувство, — сказал он, — какое я нередко испытывал в детстве, но не переживал уже много лет. Будто все это уже было.

— У меня оно часто бывает, — сказала Мария. — Оно приходит неожиданно, словно призрак коснется твоей руки, и тут же уйдет, оставляя тебя совершенно больной.

— Думаю, это можно объяснить, — сказала Селия. — Подсознание работает быстрее сознания или

наоборот, во всяком случае, что-нибудь в этом роде. Что не так уж и важно.

Она вынула из корзинки следующий дырявый носок и взглянула на него.

— Когда Чарльз назвал нас паразитами, он думал обо мне, — сказала она, — думал о том, что я каждые выходные приезжаю сюда и не даю ему побыть с Марией наедине. Когда он входит в классную комнату, то видит, что я играю с детьми, нарушая заведенный Полли распорядок дня, вожу их на прогулки в отведенное для сна время, рассказываю сказки, когда они должны заниматься. В прошлую субботу он застал меня на кухне, где я показывала миссис Бэнкс, как приготовить суфле, а вчера утром я

была в аллее и садовыми ножницами обрезала засохшие ветки куманики. Он не может отделаться от меня, не может освободиться. Со мной так всю жизнь — я слишком привязываюсь к людям, слишком привыкаю.

Она продела нитку в иголку и начала штопать носок. Он был заношен, истерт, впитал в себя запах своего маленького владельца, и Селия подумала, сколько раз занималась она этим, но всегда для детей Марии, а не для своего собственного ребенка, и что до сих пор это не имело существенного значения, но сегодня привычный уклад изменился. Она уже никогда не сможет, как прежде, с легким сердцем приезжать в Фартингз — ведь Чарльз назвал ее паразитом.

— Это была не ты, а я, — сказала

Мария. — Чарльз привязан к тебе. Он любит, когда ты здесь бываешь. Я всегда говорила вам, что он ошибся выбором.

Она снова легла на диван, но на сей раз боком, чтобы видеть огонь и горячие хлопья белого пепла от тлеющих поленьев, которые, сворачиваясь, падали сквозь решетку на кучу остывшей золы.

— Ему нельзя было жениться на мне, — сказала она. — Ему следовало жениться на той, которая любит то, что любит он: деревню, зиму, верховую езду, несколько семейных пар к обеду и затем бридж. Что хорошего для него в этой сумбурной жизни: я работаю в Лондоне, приезжаю только на два выходных. Я делала вид, будто мы счастливы, но

это уже давно не так.

Найэл закрыл крышку рояля и встал.
— Чепуха, — резко сказал он. — Ты обожаешь его и отлично знаешь это. И он обожает тебя. Если бы это было не так, вы бы давно расстались.

Мария покачала головой.

— Он даже не знает меня по-настоящему, — сказала она. — Он любит представление, которое когда-то составил обо мне, и старается никогда с ним не расставаться, как с памятью об умершем. Я поступаю так же по отношению к нему. Когда он влюбился в меня, я играла в возобновленном спектакле «Мэри Роз»⁴. Не помню, сколько она продержалась в репертуаре — два или три месяца, — но я все время видела в нем Саймона. Он был для меня

Саймоном; и когда мы обручились, я продолжала быть Мэри Роз. Я смотрела на него ее глазами, испытывала к нему ее чувства, а он думал, что это подлинная я, вот почему он любил меня и почему мы поженились. Но все это было только иллюзией.

Даже сейчас, подумала она, глядя в огонь, я продолжаю играть. Я смотрю на себя, я вижу женщину по имени Мария, она лежит на диване и теряет любовь мужа, мне жаль одинокую бедняжку, я готова рыдать над ней; но я, настоящая я, исподтишка строю гримасы.

— Здесь только один паразит, — сказал Найэл. — Не обольщайтесь, он выпустил пар не на вас, ни на ту, ни на другую.

Он подошел к окну.

— Чарльз человек действия, — сказал он, — человек, у которого есть цель. Он пользуется авторитетом, у него трое детей, он воевал. Я уважаю его больше, чем кого бы то ни было. Временами мне хотелось бы походить на него, быть человеком его склада. Видит бог, я завидовал ему... во многом завидовал. Только что он назвал меня шутлом гороховым, и был прав. Но я куда больше паразит, чем шут гороховый. Всю свою жизнь я от чего-то убегаю — убегаю от гнева, от опасности, но прежде всего от одиночества. Вот почему я и пишу песни, это своего рода попытка обмануть мир.

Глядя через комнату на Марию, он отшвырнул сигарету.

— Мы становимся слишком впечатлительными, это нездорово, — встревожилась Селия. — К чему этот самоанализ? И нелепо говорить, что ты боишься быть один. Ты любишь оставаться один. Глухие места, куда ты все время скрываешься. Лодка, которая всегда течет...

Она услышала, что ее голос становится капризным, как у маленькой Селии, которая просила: «Не оставляйте меня. Подождите меня, Найэл, Мария, подождите меня...»

— Желание побыть одному и одиночество — разные вещи, — сказал Найэл. — Ты, конечно, поняла это за последние годы.

По звукам, долетевшим из столовой, мы поняли, что накрывают к чаю.

Миссис Бэнкс была одна. Она тяжело ступала по полу и довольно неуклюже звенела и стучала чашками. Селия подумала, не пойти ли ей помочь, и уже было встала с места, но снова села, услышав, как Полли говорит веселым голосом: «Позвольте мне пособить вам, миссис Бэнкс. Нет, дети не станут лезть пальцами в торт».

Селия впервые страшилась общего чая. Дети наперебой рассказывают о прогулке, с которой они недавно вернулись, мисс Поллард — Полли — улыбается из-за чайника, ее пышущее здоровьем, привлекательное лицо напудрено по случаю этого события — воскресный чай, — пудра слишком бледная для ее кожи, и ее беседа («Ну, дети, расскажите тете Селии, что вы видели из окна, такую огромную

птицу, мы все гадали, кто же это, — не пей слишком быстро, дорогая, — еще чаю, дядя Найэл?»), она всегда немного нервозна в присутствии Найэла, слегка краснеет и теряется; а сегодня с Найэлом будет особенно сложно, да и Мария больше обычного утомлена и молчалива, а Чарльз, если он придет, угрюмо молчит за чашкой, которую Мария как-то подарила ему на Рождество. Нет, сегодня, как никогда, общего чая надо избежать. Мария, наверное, тоже об этом подумала.

— Скажи Полли, что мы не выйдем к чаю, — сказала Мария. — Возьми поднос, и мы попьем здесь. Я не выдержу шума.

— А как Чарльз? — спросила Селия.

— Чай ему не понадобится: я

слышала, как хлопнула садовая дверь. Он вышел пройтись.

Снова начался дождь, мелкий, монотонный, он слегка постукивал по «тюремным» окнам.

— Я всегда их ненавидела, — сказала Мария. — Они не пропускают света. Маленькие, уродливые квадраты.

— Лютьенс⁵, — сказал Найэл. — Он всегда делал такие.

— Они годятся для таких домов, — сказала Селия. — В «Кантри Лайф» их видишь десятками, особенно в Хэмпшире. Достопочтенная миссис Роналд Харрингуэй, что-то вроде этого.

— Две односпальные кровати, — сказала Мария, — их сдвигают вместе, чтобы они выглядели как

двухспальная. И скрытый электрический свет, который проникает из-за стены почти под потолком.

— Розовые полотенца для гостей, исключительно чистые, — сказал Найэл, — но запасные комнаты всегда холодные и выходят на север. У миссис Харрингуэй вот уже много лет служит очень расторопная горничная.

— Которая слишком рано положит грелку в постель, и, когда вы ляжете, она будет едва теплой, — сказала Мария.

— Мисс Комптон Коллир раз в год приезжает фотографировать цветочный бордюр, — сказала Селия. — Множество люпинов, очень крепких.

— И губастики, которые, высунув языки, задыхаются на лужайке, пока миссис Роналд Харрингуэй срезает розы, — сказал Найэл.

Повернулась ручка, и Полли просунула голову в дверь.

— Всё в темноте? — жизнерадостно спросила она. — Это не очень весело, не правда ли?

Она повернула главный выключатель у двери, и комнату залил яркий свет. Никто не произнес ни слова. Лицо Полли покраснелось и посвежело после бодрой прогулки с детьми под дождем. По сравнению с ней мы трое казались изможденными.

— Чай готов, — сказала она. — Я сейчас немного помогла миссис Бэнкс. У детей, да благословит их Господь, такой аппетит после

прогулки. Мамочка выглядит усталой.

Полли бросила на Марию критический взгляд: ее поведение представляло собой странную смесь заботы и неодобрения. Дети молча стояли рядом с ней.

— Мамочке надо было пойти с нами на прогулку, ведь правда? Тогда бы ее лондонский вид как рукой сняло. Но ничего. Мамочка скушает большой кусок вкусного торта. Пойдемте, дети.

Она кивнула, улыбнулась и вернулась в столовую.

— Не хочу никакого торта, — прошептала Мария. — Если он такой же, как в прошлый раз, меня стошнит. Я его терпеть не могу.

— Можно мне съесть твой кусок? Я никому не скажу, — попросил мальчик.

— Да, — ответила Мария.

Дети выбежали из комнаты.

Найэл вместе с Селией пошел в столовую, и они принесли чайный поднос с напитками, после чего закрыли дверь в гостиную, отгородившись от застольного шума, такого привычного и по-домашнему уютного.

Найэл выключил свет, и нас снова окутала успокоительная темнота. Мы остались одни, никто не нарушал окружавшей нас тишины и покоя.

— У нас было иначе, — сказал Найэл. — Все ярко, чисто, выхолощено и банально. Пластмассовые игрушки. Вещи, которые приходят и уходят.

— Возможно, и так, — сказала Мария, — а может быть, мы просто не

ПОМНИМ.

— Я отлично помню, — сказал Найэл, — я все помню. В том-то и беда. Я помню слишком многое.

Мария налила в чай ложку коньяка, себе и Найэлу.

— Я не выношу классную комнату, — сказала она. — Поэтому никогда туда не захожу. Такая же тюрьма, окна как в этой гостиной.

— Напрасно ты так говоришь, — сказала Селия. — Это лучшая комната в доме. Выходит на юг. Очень солнечная.

— Я не это имею в виду, — сказала Мария. — Она слишком самоуверенна, довольна собой. Так и слышишь, как она говорит: «Разве я не прекрасная комната, дети? Входите же, играйте, веселитесь». И бедные

малыши с огромными кусками пластилина в руках усаживаются на сверкающий голубой линолеум. Труда никогда не давала нам пластилин.

— Он был нам просто не нужен, — сказала Селия. — Мы постоянно наряжались.

— Если бы дети захотели, они могли бы наряжаться в мои платья, — сказала Мария.

— У тебя нет шляп, — сказал Найэл, — а без шляп наряжаться неинтересно. Десятки шляп свалены на шкафу, но, чтобы их достать, надо забраться на стул. — Он налил себе в чай еще ложку коньяка.

— У Мамы была малиновая бархатная накидка, — сказана Селия. — Я как сейчас ее вижу. Она

стягивалась на шнур в бедрах, думаю, ты назвала бы ее оберткой, и заканчивалась широкой меховой оторочкой. Когда я ее надевала, она волочилась по полу.

— Ты воображала себя феей Морганой, — сказала Мария. — С твоей стороны было очень глупо надевать малиновую накидку, изображая фею Моргану. Я тебе говорила, что это неправильно. Но ты заупрямилась и ничего не хотела слушать. Потом пустилась в слезы. Я даже слегка тебя стукнула.

— Ты стукнула ее вовсе не за это, — сказал Найэл. — Тебе самой хотелось взять красную накидку и изображать Джиневру. Разве ты не помнишь, что на полу рядом с нами лежала книга с иллюстрациями Дюлака? На

Джиневре был длинный красный плащ, и на него спадали золотые косы. А я надел свою серую куртку задом наперед, чтобы быть Ланселотом, да еще натянул на руки Папины серые носки — это была кольчуга.

— Кровать была очень большая, — сказала Мария. — Просто огромная. Самая большая кровать, какую я видела.

— О чем вы говорите? — спросила Селия.

— О Маминой кровати, — ответила Мария, — в комнате, где мы наряжались. Это было в меблированных комнатах в Париже. Там еще висели картины с изображениями китайцев. Я всегда искала такую же большую кровать, но

так и не нашла. Как странно.

— Интересно, почему ты вдруг о ней вспомнила? — спросила Селия.

— Не знаю, — ответила Мария. — Это не боковая дверь сейчас хлопнула? Может быть, Чарльз вернулся.

Мы прислушались. И ничего не услышали.

— Да, это была большая кровать, — сказала Селия. — Один раз я в ней спала, когда прищемила палец в лифте. Я спала посередине, между Папой и Мамой.

— Правда? — с любопытством спросила Мария. — Как это на тебя похоже. Тебе не было неловко?

— Нет. А почему мне должно было быть неловко? Было тепло и приятно. Ты забываешь, что для меня это было

очень просто. Ведь я принадлежала им обоим.

Найэл со стуком поставил чашку на поднос.

— И надо же сказать такую чушь. — Он встал и закурил еще одну сигарету.

— Но так оно и есть, — сказала удивленная Селия. — Как ты глуп.

Мария медленно пила чай. Она держала чашку обеими руками.

— Интересно, одинаково ли мы их себе представляем, — задумчиво проговорила она. — Я имею в виду Папу и Маму. Прошрое, и как мы были детьми, как росли, все, что делали?

— Нет, — сказал Найэл, — каждый из нас видит их по-своему.

— И если мы объединим наши

представления, получится цельная картина, — сказала Селия. — Но только искаженная. Как, например, сегодняшней день. Когда он пройдет, мы будем видеть его по-разному.

Комната погрузилась во мрак, и наступающая ночь казалась жемчужно-серой по сравнению с окружающей нас темнотой. Еще были видны мрачные очертания деревьев, трепещущих под ленивым дождем. Изогнутая ветка ползучего жасмина, вьющегося по стене дома, царапала освинцованные стекла французского окна. Довольно долго никто из нас не проронил ни слова.

— Интересно, — сказала Селия, — что же на самом деле Чарльз имел в виду, назвав нас паразитами?

В комнате с незадернутыми

портьерами вдруг повеяло холодом. Огонь почти угас. Дети и Полли за столом ярко освещенной столовой по ту сторону холла принадлежали другому миру.

— Отчасти, — сказала Мария, — это выглядело так, будто он нам завидует.

— То была не зависть, — сказала Селия, — а жалость.

Найэл открыл окно и посмотрел в дальний конец лужайки. Там, в углу, возле детских качелей, стояла плакучая ива, летом она превращалась в самой природой созданную беседку, прохладную, увитую листьями, которые, переплетаясь между собой, приглушали ослепительное сияние солнечных лучей.

Но сейчас, окутанная унылой декабрьской тьмой, она стояла побелевшая, хрупкая; ее ветви были тонки, как кости скелета. Пока Найэл смотрел на раскинувшуюся за окном картину, порыв ветра с морозящим дождем колыхнул ветви плакучей ивы, они закачались, согнулись и разметались по земле. И там, куда был устремлен взгляд Найэла, отчетливо вырисовываясь на фоне вечной зелени, стояло уже не одинокое дерево, но видение женщины, застывшее на фоне театрального задника... еще мгновение, и оно в плавном танце заскользило к нему через погруженную в полумрак сцену.

⁴ «*Мэри Роз*» — пьеса английского драматурга и прозаика Джеймса Метью Барри (1860–1937), впервые поставленная в 1920 г.

⁵ *Лютъенс*, сэр Эдвард Лэндсир (1869–1944) — английский архитектор.

Глава четвертая

В последний вечер сезона Папа и Мама устраивали на сцене банкет. По этому поводу нас одевали особенно нарядно: Марию и Селию — в шифоновые платья со шнурами, продетыми в прорези на талии, Найэла — в матросский костюм, блуза от которого всегда была слишком велика и сидела на нем мешковато.

— Да будешь ты, наконец, стоять спокойно, детка? — ворчала Труда. — Как же мне собрать тебя вовремя, если ты ни в какую не хочешь стоять спокойно? — И она вытягивала пряди

волос Марии, потом взбивала их жестким частым гребнем, до тех пор пока они не окружали голову Марии как золотой нимб. — Те, кто тебя не знает, подумают, что ты ангел, — бормотала она, — но мне виднее, я могла бы им кое-что рассказать. А ну не ерзай. Ты хочешь куда-то пойти?

Мария смотрелась в зеркало платяного шкафа. Дверца была полуоткрыта и слегка ходила, отражение Марии ходило вместе с ней. Ее щеки горели, глаза сияли, волна возбуждения, нараставшая весь день, подкатывала к горлу, и ей казалось, что она задыхается. Она быстро росла, и одежда, которая еще несколько месяцев назад была ей впору, жала в плечах и стала коротка.

— Я это не надену, — сказала она.

— Это для детей.

— Ты наденешь то, что велит Мама, или пойдешь в кровать, — сказала Труда. — Ну а теперь, где мой мальчик?

«Мой мальчик» в нижней сорочке и штанах, весь дрожа, стоял перед умывальником. Труда схватила его и, намылив кусок фланели, принялась тереть ему шею и уши.

— И откуда только берется грязь, ума не приложу, — сказала она. — Что с тобой, тебе холодно?

Найэл покачал головой, но продолжал дрожать, и зубы у него стучали.

— Волнение, вот что это такое, — сказала Труда. — Большинство детей твоего возраста давно спят. Что за глупость постоянно таскать вас в

театр. Но недалек тот день, когда они об этом пожалеют. Селия, поторопись; если ты собираешься сидеть там и дальше, то просидишь всю ночь. Неужели ты еще не кончила? Иду, мадам, иду... — И, в раздражении щелкнув языком и бросив фланелевую тряпку в таз, оставила Найэла стоять с намыленной шеей, по которой стекали тонкие струйки воды.

— Мы уезжаем, Труда, — сказала Мама. — Если вы привезете детей после антракта, времени хватит.

Натягивая длинные черные перчатки, она, холодная и бесстрастная, на мгновение задержалась в дверях. Ее темные блестящие волосы были, как всегда, разделены на прямой пробор и

собраны в узел, спускающийся на шею. По случаю банкета на ней были жемчужное кольцо и жемчужные серьги.

— Какое красивое платье, — сказала Мария. — Оно новое, правда?

И, забыв о своем недовольстве, подбежала потрогать Мамино платье; Мама улыбнулась и распахнула плащ, чтобы показать складки.

— Да, новое, — сказала она и повернулась. Складки платья взвихрились под черным бархатным плащом, и на нас повеяло ароматом духов.

— Дай мне тебя поцеловать, — попросила Мария. — Дай мне тебя поцеловать и представить, что ты королева.

Мама наклонилась, но лишь на

секунду, так что Марии досталась всего-навсего складка бархата.

— Что с Найэлом? — спросила Мама. — Почему он такой бледный?

— По-моему, его тошнит, — сказала Мария. — С ним всегда так перед банкетом.

— Если он нездоров, ему не следует ехать в театр, — сказала Мама и взглянула на Найэла, затем, услышав, что Папа зовет ее из коридора, запахнула плащ, повернулась и вышла из комнаты, оставив нам свой ласкающий аромат.

Мы слышали звуки их отбытия — громкие голоса и шепот взрослых, так не похожие на нашу болтовню и смех. Мама что-то объясняла Папе, Папа говорил с шофером, Андре бежал через холл с Папиным пальто,

которое Папа забыл у себя; они садились в машину, и нам было слышно, как завелся мотор и хлопнула дверца.

— Они уехали, — сказала Мария, и ее возбуждение ни с того ни с сего угасло. Она вдруг почувствовала себя одинокой, ей стало грустно, поэтому она подошла к тазу, перед которым по-прежнему стоял дрожащий Найэл, и стала дергать его за волосы.

— Ну-ну, вы, двое, не смейте, — рассердилась Труда. Она вернулась в комнату и, склонившись над Найэлом, внимательно осмотрела его уши. Найэл согнулся пополам; у него был довольно жалкий вид, чего он не выносил и поэтому был рад, что Папа, такой величественный в вечернем костюме, с гвоздикой в петлице, не

пришел проститься вместе с Мамой.

— А теперь все трое успокойтесь и ведите себя смирно, пока я одеваюсь, — сказала Труда, пошла к стоявшему в коридоре шкафу, где она держала свою одежду, и достала черное, пахнувшее затхлостью платье, единственное, в которое она переодевалась.

В комнатах все говорило о том, что наше пребывание здесь подошло к концу. Завтра мы уезжаем, и они уже не будут нашими. Здесь поселятся другие люди, или они будут пустовать, возможно, в течение нескольких недель. Андре укладывал Папины костюмы в большой дорожный сундук. Комод и платяной шкаф стояли раскрытыми, на полу выстроились ряды туфель и ботинок.

Андре разговаривал по-французски с маленькой черноволосой горничной, которая заворачивала Мамины вещи в листы оберточной бумаги. Бумага была разбросана по всей комнате. Он смеялся, слова лились все быстрее, а маленькая горничная улыбалась и держала себя с притворной скромностью.

— Это его всегдашнее занятие, — сказала Труда. — Никак не может оставить девушек в покое. — Для Андре она всегда держала нож за пазухой.

Вскоре они ушли на кухню ужинать, и Труда присоединилась к ним. Сквозь полуоткрытую дверь из кухни доносился приятный запах сыра и чеснока.

Селия вошла в гостиную, села и

огляделась. Книги, фотографии и прочие вещи были упакованы. В комнате осталась лишь мебель, принадлежавшая владельцам комнат. Жесткий диван, золоченые стулья, полированный стол. На стене висела картина, изображающая женщину на качелях, ее юбки развевались, туфелька с одной ноги взлетела в воздух, а молодой человек, стоящий у нее за спиной, раскачивал качели. Как-то странно было думать об этой молодой женщине, сидящей на качелях, которые раскачивает молодой человек — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, с тех самых пор, когда была написана картина, и о том, что теперь на них некому будет смотреть и им придется качаться одним в пустой комнате.

— Мы уезжаем, — громко сказала Селия. — Как вам это понравится? Не думаю, что мы снова приедем сюда.

А молодая женщина продолжала улыбаться своей тонкой улыбкой, подбрасывая туфельку в воздух.

Вернувшись в спальню, Мария лихорадочно переодевалась. Она сняла выходное платье и наряжалась в бархатный костюм, который надевала во время новогоднего костюмированного бала. Это был костюм пажа, взятый напрокат за весьма значительную плату; Труда уже приготовила его к отправке обратно в магазин, упаковав в специальную коробку и прикрепив к ней этикетку. Он состоял из полосатого колета, коротких штанов колоколом, длинных шелковых чулок

и, самое замечательное, наброшенного на плечи плаща. Талию перехватывал ремень, за который был заткнут кинжал в расписных ножнах.

Костюм был как нельзя более впору, и, пока Мария рассматривала себя в зеркало, радостное возбуждение постепенно возвращалось к ней. Она была счастлива, ей все было нипочем: из зеркала на нее смотрела не Мария, унылая маленькая девочка в дурацком черном выходном платье, а веселый паж, и звали его Эдоар. Она ходила взад и вперед по комнате, разговаривала сама с собой и рассекала воздух кинжалом.

В ванной Найэл старался вызвать рвоту. Он набирал воздух в легкие, задерживал дыхание, плевал, но ничего не получалось, а боль в низу

жизни не проходила. Он горестно размышлял над тем, почему его всегда тошнит перед важными событиями. Утро его дня рождения, Рождество, премьера, последний вечер сезона, поездка на море — все портила проклятая тошнота.

В обычные дни, когда это было бы не так важно, его никогда не тошнило. Он распрямился, вздохнул и, выйдя из ванной, остановился в коридоре, размышляя, что же делать. Он слышал, как в кухне Труда разговаривала с Андре. Он повернулся и пошел в Мамину спальню. Андре выключил свет, и в спальне горела лишь одна лампа у зеркала на туалетном столике. Найэл вошел и остановился перед столиком. На нем стояли бутылочки с духами и

лосьонами, которые горничная еще не успела упаковать, и черепаховый поднос, засыпанный пудрой. На табурете лежала Мамина шаль. Найэл поднял ее, понюхал и набросил на плечи. Он сел на табурет и стал перебирать разные мелочи, лежавшие на подносе. Вдруг он заметил, что Мама забыла серьгу. Круглая белая жемчужина лежала на островке просыпанной пудры. Он был уверен, что она была на Маме, когда та вошла в их спальню попрощаться. Наверное, серьга упала, когда Папа позвал ее, а она этого не заметила, и Андре или горничная увидели ее на полу и положили на туалетный столик.

Найэл решил взять серьгу и отдать ее Маме, конечно же, она будет довольна и скажет: «Как это мило с

твоей стороны» — и улыбнется. Он взял жемчужину в руку и тут же ощутил непреодолимое желание положить ее в рот. Так он и сделал. Провел по ней языком. Она была холодной и гладкой. Какой мирный покой царил в тихой спальне. Его больше не тошнило. И вдруг из коридора послышался голос Труды: «Найэл... Найэл... Да где же этот мальчик?» Он вздрогнул, вскочил, и в ту же секунду его зубы прикусили жемчужину; она страшно хрустнула. Охваченный паникой, он выплюнул кусочки в руку, несколько мгновений смотрел на них испуганными глазами, затем бросил под подзор кровати. Когда Труда вошла в комнату и зажгла свет, он сидел, скорчившись под кроватью.

— Найэл? — позвала Труда. — Найэл?

Он не отозвался. Труда вышла и стала звать остальных. Найэл выполз из-под кровати, на цыпочках добрался по коридору до ванной и, войдя в нее, запер за собой дверь.

По дороге в театр Труда была в плохом настроении.

— Слишком за многим приходится смотреть, вот что я вам скажу, — говорила она. — У меня не сотня глаз. И складывать вещи, и вас одевать, и вдобавок ко всему эта выходка — помяните мое слово, эта девица и не думала класть серьгу на туалетный столик. Зная, что ваша Мама и все мы завтра уезжаем, она ее где-нибудь спрятала, чтобы потом продать. Мария, опусти немного окно, в

машине душно. Уж слишком спокойно ты сидишь, да еще закуталась в выходной плащ. Только не говори, что тебя тоже тошнит. Найэл, с тобой сейчас все в порядке?

Труда продолжала разговаривать то ли с нами, то ли сама с собой. Щеки Марии покраснелись, руки покрыла легкая испарина, и она не без злорадства думала о том, когда же Труда обнаружит, что под ее выходным плащом надето вовсе не платье, а костюм пажа. Ей было все равно, переодеваться уже поздно; пусть даже ее накажут, это не имеет значения. Она слегка подпрыгнула на сиденье, и губы ее упрямо сжались.

Найэл искал утешения в прикосновении к руке Труды под пледом, лежавшим у них на коленях.

— Все в порядке, мой мальчик? — спросила она.

— Да, спасибо, — ответил Найэл.

Под кроватью они никогда не найдут расколотую жемчужину, а если и найдут, то подумают, что на нее наступила горничная. Завтра мы уедем, и все забудется.

До театра еще несколько минут езды по широкому, заполненному гудящими такси и залитому огнями бульвару, по обеим сторонам которого текут бесконечные потоки теснящих друг друга, весело болтающих пешеходов. А потом фойе, где во время антракта народу еще больше, шум и суета; люди взволнованно переговариваются, приветствуют знакомых. Затем Труда, что-то сказав шепотом *ouvrez*⁶,

вталкивает нас в ложу, и мы стоим, глаза по сторонам. И вот из фойе доносится звонок, публика спешит занять места, шум и гомон постепенно затихают и превращаются в легкое жужжание, когда в оркестре появляется Салливан и застывает с поднятой палочкой в руке.

Занавес словно по волшебству расступился, и мы смотрели на уходящий вглубь сцены густой лес; посреди леса была поляна, а в центре поляны пруд.

Хотя мы много раз трогали эти деревья руками и знали, что они нарисованы, гляделись в пруд и знали, что это ткань, которая даже не блестит, Селия опять поддалась на обман.

Она словно эхо повторила слабое

«ах», которое вырвалось у зрителей, когда они увидели, как у кромки пруда медленно поднимается фигура женщины со светлыми волосами и сложенными на груди руками, и, хотя рассудок говорил ей, что это Мама — просто Мама делает это понарошку, а ее настоящие вещи лежат в уборной за сценой, — ее, и не в первый раз, охватил страх: а что, если она ошибается и нет ни уборной за сценой, ни Маминых вещей, ни Папы, который ждет, когда придет его черед выходить на сцену и петь; а есть только эта фигура, эта женщина — и Мама, и не Мама. Чтобы избавиться от своих страхов, она посмотрела на сидевшую рядом Марию. Мария слегка раскачивалась и повторяла вслед за Мамой ее движения; ее

голова склонилась к плечу, руки разведены, а Труда толкает ее в спину и говорит: «Ш-ш-ш... седи спокойно».

Мария вздрогнула, она и не знала, что копирует Маму.

Она думала о линиях, мелом начерченных на сцене, на голых досках, до того как на них постелили ткань. Когда Мама репетировала, она всегда просила начертить мелом квадраты по всей сцене и отрабатывала свои па от квадрата к квадрату снова и снова. Мария много раз наблюдала за этим.

Сейчас она двигалась по второму квадрату... Мгновение — и она заскользит по третьему, четвертому, пятому, потом поворот, взгляд назад и сопровождающее взгляд движение

рук. Мария знала все па. Как ей хотелось быть тенью, что движется по сцене рядом с Мамой.

Однажды был лист, гонимый ветром, думал Найэл. Первый осенний лист, упавший с дерева. Его поймали, бросили на землю, и его сдуло вместе с пылью; и никто его больше не увидит, он пропал, затерялся. Была морская зыбь, она ушла с отливом и никогда не вернется. Была водяная лилия в пруду, зеленая, с закрытыми лепестками, затем она распустилась, белая, похожая на воск; и этой водяной лилией были раскрывающиеся Мамины руки и музыка, нарастающая, замирающая и теряющаяся в отдаленном лесном эхе. Если бы это никогда не кончилось;

если бы музыка не утихала и не сливалась с тишиной, но продолжалась бы вечно... падающий лист... зыбь на воде... Она снова возле пруда, и вот она погружается в него. Деревья плотным кольцом обступают ее... и темнота — все кончено. Струящийся складками занавес закрывается, нарушая воцарившуюся тишину, и вдруг весь мир и покой взрывает бессмысленная буря аплодисментов.

Руки мелькают, как нелепые развевающиеся веера, все хлопают вместе, головы кивают, губы улыбаются. Труда, Селия и Мария, покрасневшие, счастливые, хлопают вместе со всеми.

— Ну, похлопай же Маме, — сказала Труда.

Но он покачал головой и, нахмурясь, уставился на свои черные ботинки под белыми матросскими брюками. Старик с бородкой клинышком нагнулся из соседней ложи и спросил смеясь:

— Qu'est-ce qu'il a, le petit?⁷

На сей раз Труда не смогла прийти на помощь и рассмеялась, посмотрев на старика.

— Да он просто слишком застенчив, — сказала она.

В ложе было жарко и душно, от жажды и волнения у нас пересохло в горле. Мы хотели купить sucettes⁸ и пососать их, но Труда не позволила.

— Вы не знаете, из чего они их делают, — сказала она.

Мария так и не снимала плащ, притворяясь, будто ей холодно, и,

когда Труда поворачивалась к ней спиной, нарочно показывала язык толстой, увешанной драгоценностями женщине, которая разглядывала ее в лорнет.

— Oui, les petits Delayneys⁹, — сказала женщина своему спутнику, который повернулся, чтобы посмотреть на нас, и мы уставились прямо поверх их голов, делая вид, будто ничего не слышали.

Странно, думал Найэл, что ему никогда и в голову не приходит не хлопать Папе; когда Папа выходил на сцену петь, он испытывал совершенно другие чувства. Папа казался таким высоким и уверенным, даже могучим, он напоминал Найэлу львов, которых они видели в Jardin d'Acclimatation¹⁰.

Разумеется, Папа начинал с

серьезных песен, и как Мария помнила линии, начерченные мелом на сцене, так и Найэл обращался мыслями к репетиции и к тому, как Папа переходил от одной музыкальной фразы к другой.

Иногда ему хотелось, чтобы Папа пел ту или иную песню быстрее, хотя, может быть, дело было в музыке, музыка была слишком медленной. Быстрее, думал он, быстрее...

Хорошо известные и любимые публикой песни Папа приберегал для конца программы и исполнял их на бис.

Селия со страхом ждала этого момента, потому что они слишком часто бывали грустными.

Так летним днем колокола

На Бредене звонят...

Песня начиналась с такой надеждой на будущее, с такой верой в него, и вдруг этот ужасный последний стих... кладбище; Селия ощущала снег под ногами, слышала, как звонит колокол. Она знала, что заплачет. Какое облегчение она испытывала, если Папа не пел эту песню, а вместо нее исполнял «О Мэри, под твоим окном».

Она так и видела, как сидит у окна, а Папа верхом проезжает мимо, машет ей рукой и улыбается.

Все песни имели к ней прямое отношение, она не могла отделить себя ни от одной из них.

Горы подпирают небо,

Тучи ходят на закате,
И цветку-сестрице горе,
Коль не тужит о брате... 11

Это были она и Найэл. Если она не тужит по Найэлу, ей не будет прощения. Она не знала, что значит слово «тужит», но была уверена, что что-то ужасное.

О ты, луна восторга моего...

Селия чувствовала, как у нее дрожат уголки губ. И зачем это Папе понадобилось? Что он сделал со своим голосом, отчего он стал такой грустный?

Напрасно будешь в том саду искать
И звать меня — там нету никого.

А это уже сама Селия везде ищет Папу и нигде его не находит. Она видела сад, усыпанный опавшими листьями, как *Vois*¹² осенью.

Но вот все кончено, все позади; аплодисменты не только не стихали, но становились все громче, из зала неслись восторженные крики. Мама и Папа, стоя перед занавесом, кланялись публике и друг другу; Папа уже подходил к рампе, чтобы произнести речь, когда Труда поспешно втолкнула нас в дверь, ведущую на сцену, — она не хотела попасть в давку при выходе публики на улицу.

Мы оказались за кулисами в тот момент, когда Папа кончил говорить, а Мама стояла, спрятав лицо в букет,

который Салливан подал ей из оркестровой ямы. Маме и Папе преподнесли несколько букетов и увитую лентами корзину цветов, что было весьма глупо, раз утром мы уезжали из Парижа и Мама все равно не смогла бы их упаковать.

Но вот занавес закрылся в последний раз, хлопки и крики смолкли. Папа и Мама задержались на сцене; они улыбались и кланялись друг другу, но вдруг Папа в гневе повернулся к режиссеру.

— Свет, свет, черт возьми, что со светом? — кричал он, а Мама, раздраженно пожимая плечами, стремительно прошла мимо нас; она была бледна и уже не улыбалась.

Мы были слишком вышколены, чтобы задавать вопросы. Мы сразу

догадывались, когда наступал критический момент... Мы проскользнули в глубину сцены, и Труда без слов отпустила нас.

В царившей вокруг суматохе мы вскоре все позабыли.

В Париже для рабочих сцены закон не писан, как и для носильщиков в Кале. Проворные, как обезьяны, ловкие, как жонглеры, непрерывно крича друг другу «Гопля!», они перетаскивали за сцену части декорации; ими руководил маленький человечек в берете, с лицом, залитым потом, он клял их на чем свет стоит, наполняя воздух запахом чеснока.

Мимо них с трудом проталкивались официанты из «Мериса» с подносами, уставленными бокалами и тарелками с цыплятами в сметане; появившийся

из ниоткуда Андре одну за другой вынимал из корзины бутылки шампанского; а в дверь, ведущую на сцену из зала, слишком рано и слишком скоро вошел первый гость, на что никто не обратил внимания. Это была всего-навсего миссис Салливан, жена дирижера, в ужасной лиловой пелерине. Она направилась к нам, улыбаясь и стараясь выглядеть непринужденно. При виде лиловой пелерины с нами чуть не сделалась истерика; мы убежали от миссис Салливан, оставив ее одну среди официантов, и отправились разыскивать Папу в его уборной. Увидев нас, он помахал рукой и улыбнулся, его гнев по поводу света прошел, и, подхватив Селию на руки, он поднял ее так высоко над головой,

что стоило ей протянуть руки и она достала бы до потолка. Все так же держа ее на поднятых руках, он спустился по лестнице и прошел по коридору; а тем временем Мария и Найэл цеплялись за фалды его фрака; это было так захватывающе, так весело, мы были так счастливы. Мы подошли к двери Маминой уборной и услышали, как она говорит Труде: «Но если она положила серьгу на туалетный столик в моей спальне, она и сейчас должна быть там», а Труда отвечает: «Но ее там нет, мадам. Я сама смотрела. Я везде смотрела».

Мама стояла перед высоким зеркалом, и на ней снова было то же самое платье, что и перед спектаклем. Ее шею охватывало жемчужное кольцо, но она была без серег.

— Что-нибудь не так, дорогая? Отчего такой шум? Ты не готова? Гости уже собираются, — сказал Папа.

— Пропала моя серьга, — сказала Мама. — Труда думает, что ее украла горничная. Я уронила ее в комнатах. Тебе надо что-нибудь предпринять. Ты должен позвонить в полицию.

У нее было холодное, сердитое лицо, не предвещающее ничего хорошего, лицо, при виде которого слуги разбегались в стороны, режиссеры бежали куда глаза глядят, а мы забивались в самую дальнюю комнату.

Один Папа не проявил ни малейших признаков беспокойства.

— Всё в порядке, — спокойно сказал он. — Без серег ты выглядишь

куда лучше. Да и вообще, они для тебя слишком велики. Они портят впечатление от колье.

Он улыбнулся ей через комнату, мы видели, как она улыбнулась в ответ и на мгновение смягчилась. Затем она увидела Найэла, который стоял в дверях за Папой, бледный и точно онемевший.

— Это ты взял ее? — вдруг спросила Мама. Пугающий, безошибочный инстинкт подсказал ей истину. Последовала короткая пауза, пауза, которая нам троим показалась вечностью.

— Нет, Мама, — ответил Найэл.

Мария почувствовала, что сердце готово выскочить у нее из груди. Пусть что-нибудь случится, молила она, пусть все будет хорошо. Пусть

больше никто не сердится, пусть все любят друг друга.

— Ты говоришь правду, Найэл? — спросила Мама.

— Да, Мама, — сказал Найэл.

Мария бросила на него горящий взгляд. Конечно, он лжет. Серьгу взял Найэл, а потом, наверное, потерял или выбросил. И, видя, как он стоит в своем матросском костюме, несчастный, одинокий, и ни в чем не признается, Мария почувствовала, что в ней нарастает безудержное, отчаянное желание оттолкнуть от него всех взрослых. Подумаешь, пропала какая-то серьга, неужели это так важно? Никто не имеет права причинять Найэлу боль, никто не имеет права прикасаться к Найэлу. Никто и никогда... кроме нее.

Она сделала шаг вперед и, заслонив собой Найэла, распахнула плащ.

— Посмотрите на меня, — сказала она. — Посмотрите, что на мне.

А была она в костюме пажа. Она засмеялась и, хлопая в ладоши, закружилась по комнате, потом, не переставая смеяться, выбежала в дверь, промчалась через кулисы и впорхнула на сцену, где уже собрались почти все гости.

— Господи, благослови мою душу, — сказал Папа, — что за обезьянка. — Он рассмеялся, и смех его оказался заразительным. Когда Папа смеялся, сердиться было невозможно.

Он подал Маме руку.

— Пойдем, дорогая, ты прекрасно выглядишь, — сказал он. — Пойдем и помоги мне справиться с этими

негодниками.

Продолжая смеяться, он вывел ее на сцену, и нас всех поглотила толпа гостей.

Мы ели цыплят в сметане, мы ели меренги, мы ели шоколадные эклеры, мы пили шампанское. Все указывали на Марию и говорили, как она красива и талантлива; ее расхваливали на все лады, а она расхаживала с важным видом, щеголяя своим нарядным плащом. Селия тоже была прелестна, мила и ravissante¹³, и Найэл был очень смышлен, тонок, ну просто numero¹⁴.

Мы все были красивы, мы все были умны, таких детей еще никогда не бывало. Папа с бокалом шампанского в руке одобрительно улыбался нам. Мама, красивая как никогда, смеялась

и ласково трепала нас по голове, когда мы пробегали мимо.

Не было ни вчера, ни завтра; страх отброшен, стыд забыт. Мы все были вместе — Папа и Мама, Мария, Найэл и Селия, — мы все были счастливы и, ловя на себе взгляды гостей, от души веселились. То была игра, которую мы искусно разыгрывали, игра, которую мы понимали.

Мы были Делейни, и мы давали банкет.

⁶ Билетерша (фр.).

⁷ Что случилось с этим малышом? (фр.)

⁸ Леденцы (фр.).

⁹ Да, маленькие Делейни (фр.).

¹⁰ Зоологический сад (фр.).

¹¹ Перевод Е. З. Фрадкиной.

12 Здесь: Булонский лес (*фр.*).

13 Восхитительна (*фр.*).

14 Нечто (*фр.*).

Глава пятая

— Интересно, их брак был действительно удачным? — сказала Мария.

— Чей брак?

— Папы и Мамы.

Найэл подошел к окну и стал задергивать портьеры. Тайна отлетела от сада, в окутавшей его тьме уже не было ничего загадочного. Наступил вечер, шел сильный дождь.

— Они ушли, и ушли навсегда. Забудем о них, — сказал Найэл.

Он прошел через комнату и зажег лампу рядом с роялем.

— И это говоришь ты? — спросила

Селия, поднимая очки на лоб. — Ты гораздо больше думаешь о прошлом, чем Мария или я.

— Тем больше причин, чтобы забыть, — сказал Найэл и начал наигрывать на рояле ни мелодию, ни песню, а нечто без начала и без конца. Рояль не смолкал, издавая звуки, похожие на те, что порой доносятся из комнаты наверху, где незнакомый сосед мурлычет себе под нос нечто нечленораздельное.

— Конечно, их брак был удачным, — сказала Селия. — Папа обожал Маму.

— Обожать еще не значит быть счастливым, — сказала Мария.

— Обычно это означает обратное, то есть быть несчастным, — сказал Найэл.

Селия пожала плечами и вновь принялась штопать детские носки.

— Как бы то ни было, после ее смерти Папа стал совсем другим, — сказала она.

— Как и все мы, — отозвался Найэл. — Давайте сменим тему.

Мария сидела на диване, поджав ноги по-турецки, и смотрела в огонь.

— А зачем нам менять тему? — спросила она. — Я знаю, для тебя это было ужасно, но и нам с Селией было не легче. Пусть она не была моей матерью, но другой я не знала, и я любила ее. Кроме того, нам полезно заглянуть в прошлое. Оно многое объясняет.

Мария, одиноко сидевшая на диване, поджав под себя ноги, с растрепанными волосами, вдруг

показалась покинутой и несчастной. Найэл рассмеялся.

— И что же оно объясняет? — спросил он.

— Я понимаю, что Мария имеет в виду, — перебила Селия. — Оно заставляет пристальнее взглянуть на собственную жизнь, а, видит бог, после того, что сказал о нас Чарльз, нам самое время это сделать.

— Вздор, — сказал Найэл. — Досужие размышления — был ли брак Папы и Мамы удачным — не помогут нам решить, почему Мария вдруг потерпела фиаско.

— Кто говорит, что я потерпела фиаско? — сказала Мария.

— Вот уж час, как ты сидишь и намекаешь на это, — сказал Найэл.

— Ах, только не пускайтесь в

пререкания, — утомленно проговорила Селия. — Никак не могу решить, что меня больше раздражает: когда вы сходитесь во мнениях или когда расходитесь. Если тебе так надо играть, Найэл, играй по-настоящему. Я не выношу, когда ты без толку барабанишь по клавишам, всегда не выносила.

— Если это тебя так раздражает, я совсем не буду играть, — сказал Найэл.

— О, продолжай, не обращай на нее внимания, — сказала Мария. — Ты же знаешь, что мне это нравится. Помогает думать. — Она снова легла и заложила руки за голову. — Что вы на самом деле помните о летних каникулах в Бретани?

Найэл не ответил, но его игра

превратилась в сплошной набор резких, неприятных диссонансов.

— В то лето часто гремел гром, — сказала Селия, — как никогда часто. И я научилась плавать. Папа учил меня с поразительным терпением. В купальном костюме он выглядел не лучшим образом, бедняжка, он был слишком большой.

Но конечно же, думала она, единственное, что мы по-настоящему помним, это кульминация.

— Я играл на песке в крикет с этими ужасными мальчишками из отеля, — неожиданно сказал Найэл. — У них был тяжелый мяч, и мне это очень не нравилось. Но я решил, что все же лучше попрактиковаться перед тем, как в сентябре идти в школу. В прыжках я был гораздо сильнее. В

прыжках я разбил их наголову.

Боже мой, к чему Мария клонит, вороша прошлое? Что это может дать, какая от этого польза?

— Недавно мы говорили о том, что по-разному смотрим на один и тот же предмет, — продолжала Мария. — Найэл сказал, что мы на все смотрим с различных точек зрения. Думаю, он прав. Селия, ты говорила, что в то лето часто гремел гром. Я не помню ни одной грозы. Изю дня в день было жарко и ясно. Немудрено, что никто не знает правды о жизни Христа. Люди, которые писали Евангелие, рассказывают совершенно разные истории. — Она зевнула и подложила под спину подушку. — Интересно, в каком возрасте мне следует сообщить детям сведения, необходимые для их

полового воспитания? — без всякого перехода сказала она.

— Ты последняя, кому это следует делать, — сказал Найэл. — В твоём пересказе они будут звучать слишком возбуждающе. Предоставь это Полли. Она слепит фигурки из пластилина и на них все покажет.

— А Кэролайн? — сказала Мария. — Она давно вышла из того возраста, когда играют с пластилином. Придется директорше школы просветить ее.

— Думаю, в школах сейчас это делают очень хорошо, — серьезно сказала Селия. — Целомудренно, наглядно и без лишних эмоций.

— Что? Рисунки на доске? — спросила Мария.

— Полагаю, что да. Но не уверена.

— Не слишком ли это грубо? Как те отвратительные рисунки мелом с нацарапанными надписями, вроде «Том гуляет с Молли».

— О, может быть, и не на доске. Может быть, эти предметы в бутылках... Эмбрионы, — сказала Селия.

— Еще хуже, — сказал Найэл. — Я бы просто не мог на них смотреть. Секс и без эмбрионов достаточно хитрая штука.

— Вот уж не знала, что ты так считаешь, — сказала Селия. — Да и Мария тоже. Но мы отклонились от темы. Не понимаю, какая связь между летними каникулами в Бретани и сексом.

— О да, — сказала Мария. — Где уж тебе.

Селия намотала шерстяную нитку на катушку и положила ее в корзинку с носками.

— Было бы гораздо лучше, — строго сказала она, — если бы вместо того, чтобы раздумывать о том, давать ли уроки полового воспитания, ты научилась штопать их носки.

— Дай ей выпить, Найэл, — утомленно сказала Мария. — Она собирается прочесть мне проповедь. Любимое занятие старых дев. Ужасно скучно.

Найэл наполнил бокал Марии, затем свой и Селии.

Он вялой походкой подошел к роялю и, напевая вполголоса, поставил свой бокал на выступ рядом с клавиатурой.

— Какие там были слова? —

спросил он. — Я не могу вспомнить слова.

Он начал играть, очень тихо, осторожно, и мелодия перенесла нас в прошлое.

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prete-moi ta plume,
Pour ecrire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte

Pour l'amour de Dieu¹⁵.

Мария пела тихо, чистым детским голосом; она единственная из нас троих помнила слова.

— Найэл, ты обычно играл ее, — сказала она, — в той нелепой маленькой душевной гостиной на вилле,

пока мы все сидели на веранде. Ты повторял ее снова и снова. Почему?

— Не знаю, — сказал Найэл, — не помню.

— Папа часто ее пел, — сказала Селия, — когда мы уходили спать. У нас была сетка от комаров. Мама обычно лежала в шезлонге в том белом платье и вместо веера обмахивалась хлопушкой для мух.

— Действительно, часто бывали грозы, теперь я вспомнила, — сказала Мария. — Всю лужайку заливало в какие-нибудь пять минут. Мы бегом поднимались с пляжа, задрав юбки на голову. Бывали и морские туманы. Маяк.

— Тот человек, который хотел написать для Мамы балет, так и не поняв, что она презирает

традиционный балет и танцует в своей индивидуальной манере, — как его звали? — спросила Селия.

— Мишель как-то-там-еще, — сказал Найэл. — Он все время смотрел на Маму.

— Мишель Лафорж, — сказала Мария. — И на Маму он смотрел отнюдь не все время.

Мы помнили дом удивительно отчетливо и зримо. Он стоял недалеко от скал, круто обрывающихся в море, отчего взбираться на них было опасно. Через сад к пляжу сбегала извилистая тропинка. Вокруг было много утесов, заводей, манящих и пробуждающих любопытство пещер, куда солнце просачивалось медленно, с трудом, словно дрожащий свет факела. На

скалах росли дикие цветы. Морская
гвоздика, армерия, бальзамия...

[15](#) Погасла вдруг свечка,
Дружок мой Пьеро.
Черкну я словечко,
Готовь мне перо.
Стою в лунном свете
У самых дверей.
Ты мне, ради бога,
Открой поскорей.

Глава шестая

Когда опускался туман, день и ночь напролет выла сирена. Милях в трех от берега из моря выступала небольшая группа островов. Они были окружены скалами, и на них никто не жил: за ними высился маяк. Вой сирены доносился оттуда. Днем он не очень докучал нам, и мы вскоре привыкли к нему. Иное дело ночью. Приглушенный туманом вой звучал грозным предзнаменованием, повторяющимся со зловещей регулярностью. Ложась спать после ясного, теплого, без малейшего намека на туман дня, мы просыпались

в предрассветные часы, и тот же заунывный, настойчивый звук, что разбудил нас, вновь нарушал тишину летней ночи. Мы старались представить себе, что его издает безобидное механическое устройство, приводимое в действие смотрителем маяка, как какая-нибудь машина или мотор, который можно включить руками. Но тщетно. До маяка было не добраться, бурное море и скалистые острова преграждали к нему путь. И голос сирены продолжал звучать как голос самой судьбы.

Папа и Мама перешли в запасную комнату виллы: Маме было нестерпимо тяжело просыпаться по ночам и слышать вой сирены. Вид из их новой комнаты был ничем не примечателен: окна выходили на

огород и дорогу в деревню. К тому лету Мама устала больше обычного. Позади был долгий сезон. Всю зиму мы провели в Лондоне, на Пасху поехали в Рим, затем на май, июнь и июль в Париж. На осень планировалось продолжительное турне по Америке и Канаде. Поговаривали о том, что Найэл, а возможно, и Мария пойдут в школу. Мы быстро росли и выходили из повиновения. По росту Мария уже догнала Маму, что, наверное, не так и много — Мама была невысокой, но, когда на пляже Мария перепрыгивала с камня на камень или вытягивалась на каменистой площадке, перед тем как нырнуть, Папа как-то сказал, что мы и не заметили, как она за одну ночь превратилась в женщину. Нам

стало грустно, особенно Марии. Она вовсе не хотела быть женщиной. Во всяком случае, она ненавидела это слово. Само его звучание напоминало кого-то старого, вроде Труды, кого-то очень скучного и унылого — может быть, миссис Салливан, когда та делает покупки на Оксфорд-стрит, а потом несет их домой.

Мы сидели за столом на веранде и, потягивая через соломинку сидр, обсуждали этот вопрос.

— Нам надо что-нибудь принимать, чтобы остановить рост, — сказала Мария. — Джин или бренди.

— Слишком поздно, — сказал Найэл. — Даже если бы мы за взятку уговорили Андре или кого-то другого принести нам джин из деревни, он не подействует. Посмотри на свои ноги.

Мария вытянула длинные ноги под столом. Они были коричневые от загара, гладкие, с золотистыми шелковистыми волосками. Мария вдруг рассмеялась.

— В чем дело? — спросил Найэл.

— Помните, как позавчера вечером, после ужина, мы играли в vingt-et-un¹⁶, — сказала Мария. — Папа смешил нас рассказами о своей молодости в Вене, а у Мамы разболелась голова, и она рано легла спать; а потом из отеля пришел Мишель и сел играть вместе с нами.

— Да, — сказала Селия. — Ему очень не везло в vingt-et-un. Он проиграл все свои деньги мне и Папе.

— Ну так догадайтесь, что он делал, — сказала Мария. — Он все время поглаживал мне ноги под столом. Я

хихикала и боялась, что вы увидите.

— Довольно нахально, — сказал Найэл, — но мне кажется, он из тех людей, которые любят все гладить. Вы заметили, он вечно возится с кошками?

— Да, — сказала Селия, — возится. По-моему, он очень жеманный, и Папа тоже так думает. Мне кажется, что Маме он нравится.

— Он и в самом деле Мамин знакомый. Они все время разговаривают о балете, который он хочет написать для ее осеннего турне. Вчера они говорили о нем весь день. Что ты сделала, когда он стал гладить твои ноги? Дала ему пинка под столом?

Не вынимая соломинки изо рта и с довольным видом потягивая сидр,

Мария покачала головой.

— Нет, — сказала она. — Мне было очень приятно.

Селия удивленно уставилась на нее, затем перевела взгляд на свои собственные ноги. Ей никогда не удавалось загореть так же хорошо, как Марии.

— В самом деле? — спросила она. — Я бы подумала, что это глупо. — Она наклонилась и погладила сперва свою ногу, потом ногу Марии.

— Когда ты гладишь, ощущение совсем не то, — сказала Мария. — Это неинтересно. Вся соль в том, чтобы это делал человек, которого ты почти не знаешь. Как Мишель.

— Понимаю, — ответила Селия. Она была озадачена.

Найэл вытащил из кармана леденец

на палочке и принялся задумчиво сосать его. Леденец пахнул грейпфрутом и был очень кислый.

Странное это было лето. Мы не играли в привычные игры. В католиков и гугенотов, в англичан и ирландцев, в исследователей Амазонки. Всегда находились другие дела. Мария уходила бродить одна, знакомилась со взрослыми из отеля, вроде этого назойливого Мишеля, которому, должно быть, уже перевалило за тридцать, а Селия всем надоедала своим желанием научиться плавать. Она занималась с удивительным упорством, вкладывая в броски всю душу; громко считала их, потом выскакивала из воды и кричала: «А сейчас сколько бросков? Уже лучше? Ну посмотрите на меня,

хоть кто-нибудь».

Смотреть никто не хотел, но Папа снисходительно улыбался и говорил: «Очень хорошо. Продолжай. Сейчас я приду и покажу тебе».

Когда-то, думал Найэл, мы все были вместе. Мария выбирала игру, говорила, кто кем будет, как его зовут, кто друг, кто враг. Мы все также любили изображать из себя не то, что мы есть, но совсем по-другому. Это и имел в виду Папа, когда сказал, что мы растем и что Мария стала женщиной. Скоро мы перестанем быть детьми. Мы будем, как Они.

Будущее не сулило определенности из-за постоянных разговоров об американском турне, в которое возьмут только Селию, а его и Марию

отправят в школу. Найэл выбросил остатки кислого леденца и пошел в гостиную. В доме было прохладно и тихо, ставни закрыты. Он подошел к пианино и осторожно поднял крышку. Лишь этим летом он обнаружил, как просто подбирать ноты, превращать их в аккорды и делать так, чтобы в их звучании был смысл. Когда остальные купались или загорали на пляже, он входил в пустой дом и предавался этому занятию. Он недоумевал, зачем люди тратят столько труда на изучение игры на фортепиано, на чтение нот, забивают себе головы всякими крючками, восьмушками и полувосьмушками, если ничего нет на свете проще, чем подобрать мелодию, хоть раз услышанную, и сыграть ее на пианино.

К тому времени он уже знал все Папины песни. Он мог изменять их смысл, переставляя ноты; веселую, жизнерадостную песенку можно было сделать грустной, убрав единственный аккорд и пустив мелодию вниз, словно она сбегает с горы. Он не знал, как иначе выразить свою мысль. Может быть, когда он пойдет в школу, там его этому научат, будут давать ему уроки. А пока он находил бесконечное очарование в изобретенном им методе исследования. По-своему это занятие доставляло ему не меньшее, а возможно, и большее удовольствие, чем игры с Марией и Селией, потому что он сам мог выбирать звуки, тогда как в играх приходилось играть роль, отведенную ему Марией.

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prete-moi ta plume,
Pour ecrire un mot.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.

Папа часто пел эту песню на последний бис. Чем проще была песня, тем больше неистовствовала публика. Люди кричали, размахивали носовыми платками, топали ногами — а он вовсе ничего и не делал, просто совершенно спокойно стоял на сцене и пел простую, незатейливую песню, которую все знали наизусть чуть ли не с колыбели. И всю эту бурю вызывал спокойно льющийся

голос, который производил такое же впечатление, как звучание засурдиненной скрипки. Еще интереснее было то, что, если ноты, на которые поются слова «mon ami Pierrot», поставить в обратном порядке, ощущение грусти не исчезало; мелодия и смысл оставались прежними, но изменение гармонических ходов обостряло чувство отчаяния. И уж совсем интересно было играть мелодию в другом ритме.

Au clair de la lune...

Но если внести некоторые изменения, если начать с акцента на «au», а второй акцент поставить на «lune» и четко выделить в этом слове

два слога, строка зазвучит в танцевальном ритме и все изменится. Жалостливая интонация исчезнет, и грустить будет уже не о чем. Селия не станет плакать. Найэл не испытает этого ужасного чувства одиночества, которое порой ни с того ни с сего нападает на него.

*Au clair... раз... два... de la lu... раз...
два... ne,
Mon ami... раз... два... Pierrot*
(динг-а-донг и динг-а-динга-донг).

Ну конечно же, вот он, ответ. Теперь она звучит радостно, весело. Папе надо петь ее именно так. Найэл играл песню еще и еще, вводя новые акценты в самых неожиданных местах, потом стал насвистывать в такт музыке. Вдруг — он сам не

понял, как это получилось, — Найэл почувствовал, что уже не один в комнате. Кто-то вошел из холла в дверь за его спиной. Его мгновенно охватило предательское чувство вины и стыда. Он перестал играть и повернулся на крутящемся табурете. В дверях стояла Мама и наблюдала за ним. Некоторое время они смотрели друг на друга. Мама немного помедлила, потом захлопнула дверь, подошла к нему и остановилась рядом с пианино.

— Почему ты так играешь? — спросила она.

Найэл посмотрел ей в глаза. Он сразу увидел, что она не сердится, и почувствовал облегчение. Но она и не улыбалась. У нее был усталый и немного странный вид.

— Не знаю, — сказал он. — Мне захотелось. Просто так вышло.

Она стояла и смотрела на него, и он, сидя на табурете перед пианино, понял, что Труда права. Раньше он никогда не замечал, что Мама совсем не высокая, она ниже Марии. На ней был свободный пеньюар, который она обычно носила за завтраком и у себя в комнате, и соломенные сандалии без каблуков.

— У меня болела голова, — сказала она, — я лежала у себя наверху и слышала, как ты играешь.

Странно, подумал Найэл, что она не позвонила Труде или не послала кого-нибудь сказать, чтобы он перестал. Или даже не постучала в пол. Если мы слишком шумели, когда Мама отдыхала, она, как правило, так и

делала.

— Мне ужасно жаль, — сказал он.
— Я не знал. Я думал, в доме никого нет. Недавно все были на веранде, но, наверное, ушли на пляж.

Казалось, Мама не слушает его. Она словно думала о чем-то другом.

— Продолжай, — сказала она. — Сыграй, как ты играл.

— Нет, нет, — поспешно начал Найэл. — Я не могу играть как следует.

— Можешь, — сказала она.

Найэл во все глаза уставился на Маму. Неужели на нее так подействовала головная боль? С ней все в порядке? Она улыбается, и не иронично, а ласково.

Он проглотил подступивший к горлу комок, повернулся к пианино и

начал играть. Но пальцы не слушались его, попадали не на те клавиши, извлекали из инструмента фальшивые звуки.

— Бесполезно, — сказал он. — Я не могу.

И тут Мама сделала совершенно удивительную вещь. Она села рядом с ним на табурет, левую руку положила ему на плечо, а правую на клавиатуру рядом с его руками.

— Начинай, — сказала она. — Будем играть вместе.

И она продолжила песню в том же ритме и темпе с того места, где он остановился, превратив ее в радостную танцевальную мелодию. Он был так удивлен и потрясен, что не мог ни о чем думать. Может быть, Мама делает это в припадке

сомнамбулизма, или, приняв таблетку от головной боли, она сошла с ума, как Офелия в «Гамлете». Он не верил своим глазам: Мама сидит рядом с ним, а ее рука в пеньюаре обнимает его за плечи.

Она остановилась и посмотрела на него.

— В чем дело? — спросила она. — Ты больше не хочешь играть?

Должно быть, она и в самом деле отдыхала — на ее лице не было пудры, а на губах помады. Ее лицо «не было сделано», как сказала бы Мария. Это было просто ее лицо. Кожа мягкая и гладкая, небольшие морщинки в уголках глаз и рта, которые, как правило, не видны. Почему, недоумевал он, в таком виде она кажется гораздо красивее, гораздо

добрее. Она вдруг перестала быть взрослой. Она была как он, как Мария.

— Ты не хочешь играть? — повторила она.

— Нет, хочу, — сказал он, — очень хочу.

Его беспокойство улеглось. Робость прошла; он наконец был счастлив, как никогда прежде, пальцы вновь обрели уверенность и подвижность.

Ma chandelle est morte,
Je n'ai plus de feu.

А Мама играла вместе с ним и пела — Мама, которая никогда не пела с Папой.

Сквозь закрытое ставнями окно на веранду впервые за весь день донесся

вой сирены, глухой, протяжный. Он звучал снова и снова.

Найэл заиграл громче и быстрее; Мама сидела рядом с ним.

Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.

За скалами, возле самой глубокой бухты Мария лежала на животе и смотрела на свое отражение в воде. Недавно она обнаружила, что без малейшего усилия может вызвать слезы на глаза. Для этого ей даже не нужно ущипнуть себя или сжать веки. Стоит лишь вообразить, что ей грустно, и слезы придут сами собой. Или сказать что-нибудь грустное, и все сразу получится.

«Никогда... никогда...» —

прошептала она, и глаза, которые смотрели на нее из воды, наполнились слезами горя. Есть в Библии строчки, которые хорошо повторять не для того, чтобы плакать, а просто так.

Как ноги прекрасны твои, обутые в туфли, о царская дочь.

Это из Библии? Впрочем, неважно, если не из Библии, то откуда-нибудь еще. Сколько чудесных фраз можно произнести. Ей хотелось беспорядочно нанизать их на одну нить.

Она повернулась на бок, закрыла глаза и стала слушать звучание собственного голоса.

Завтра, завтра и снова завтра...

Как тепло и приятно лежать возле бухты. Если бы всегда было лето. Ничего, кроме лета, солнца да плеска

волн, ленивого, навевающего дрему.

— Привет, морская нимфа, — сказал чей-то голос.

Мария прищурилась и подняла глаза. Это был Мишель. Интересно, как он ее нашел. Нависшая над бухтой скала надежно скрывала ее от посторонних взглядов.

— Привет, — сказала она.

Мишель подошел и сел рядом с ней. Он был в плавках и с полотенцем, повязанным вокруг бедер. Мария предалась праздным размышлениям относительно того, почему мужчины могут ходить обнаженными по пояс, а женщины нет. Наверное, потому, что они полные. Сама она, слава богу, пока не полная, но Труда по какой-то дурацкой причине все лето заставляла ее закрывать верх. Она уже слишком

большая, чтобы бегать в таком виде, говорила Труда.

— Я повсюду искал вас, — сказал Мишель с ноткой упрека в голосе.

— Искали? — спросила Мария. — Извините. Я думала, вы разговариваете с Папой или Мамой.

Мишель рассмеялся.

— Неужели вы думаете, что я стану проводить время с ними, если есть хоть малейшая возможность побыть с вами? — спросил он.

Мария пристально посмотрела на него. Вот как... Он взрослый и их друг, разве нет? Обычно взрослые предпочитают бывать со взрослыми. Она ничего не сказала, да и сказать было нечего.

— Знаете, Мария, — продолжал он, — когда я вернусь в Париж, мне

будет очень не хватать вас.

— Правда? — сказала Мария. Она прислонилась к скале и закрыла глаза. Как жарко, жарко даже для того, чтобы купаться. Слишком жарко, чтобы вообще что-нибудь делать, кроме как сидеть, прислонившись к скале.

— Да, — ответил он. — А вам будет не хватать меня?

Мария на мгновение задумалась. Если сказать «нет», он обидится. Может быть, ей и будет немного не хватать его. В конце концов, он высокий, милый и довольно красивый, а когда они играли в теннис или искали морских звезд, он всегда был очень веселым.

— Думаю, что да, — вежливо сказала она. — Да, уверена, что мне

будет очень не хватать вас.

Он наклонился и стал поглаживать ее ноги, как делал это за игрой в vingt-et-un. Странно, подумала она. Почему он сам не свой до того, чтобы гладить чьи-нибудь ноги? Во время игры это было приятно, вызывало непривычное волнение, прежде всего потому, что за столом сидели другие, которые ничего не замечали; кроме того, она инстинктивно чувствовала, что Папа рассердился бы, и это ее забавляло. Но теперь, когда они с Мишелем вдвоем, ей это не очень нравится. Это довольно глупо, как сказала Селия. Но если она уберет ноги, он опять-таки обидится. Неожиданно она придумала предлог.

— Господи, как жарко, — сказала она. — Мне просто необходимо

поплавать, чтобы освежиться.

Она встала и нырнула в глубокую бухту. Он сидел на камне и смотрел на нее. У него был раздраженный вид, но Мария притворилась, будто не замечает этого.

— Прыгайте, здесь замечательно, — сказала она, стряхивая воду с волос.

— Нет, благодарю вас, — сказал он.
— Я уже наплавался.

Он прислонился к скале и закурил сигарету.

Мария плавала кругами, наблюдая за ним из воды. Когда он сидел, подтянув колени к груди, и курил сигарету, он казался очень привлекательным. Макушка его склоненной головы выгорела на солнце, шея была коричневой от загара. Но когда он улыбался,

слишком большие зубы все портили. Интересно, думала Мария, бывает ли в мужчинах все красиво: волосы, глаза, нос, ноги, руки — или всегда найдется то, что вызывает раздражение и отталкивает? Поднимая тучу брызг, она ударила ногами по воде и снова нырнула; она знала, что хорошо ныряет, и ей захотелось покрасоваться перед Мишелем. Он продолжал курить. Вскоре Мария вышла из воды и, подобрав полотенце, вытерлась на солнце. Купание освежило ее.

— Интересно, где остальные, — сказала она.

— Какое нам дело до остальных. Подойдите сюда и сядьте, — сказал он.

Тон, которым Мишель произнес эти

слова, будто отдавая приказ, и то, как он похлопал рукой по камню, удивили Марию. Обычно, если кто-то приказывал ей что-то сделать, она инстинктивно отказывалась. Не в ее природе подчиняться дисциплине. Но когда так заговорил Мишель, она поняла, что ей это нравится. Такой тон куда лучше, чем нежный голос, каким он сказал, что ему будет не хватать ее. Тогда он выглядел глупо, а теперь он вовсе не похож на глупца. Она разложила полотенце сушиться на камне и села рядом с Мишелем. На этот раз он ничего не говорил, не касался ее ног. Он потянулся к ее руке и взял ее в свою.

Какое тепло, какой умиротворяющий покой были в пожатии его руки. Как приятно было

чувствовать прикосновение его плеча к своему. И все же, думала Мария, если бы пришел Папа и, заглянув вниз с обрыва, увидел, что мы сидим здесь, мне стало бы неловко и стыдно. Я бы быстро убрала свою руку и притворилась, что Мишель вовсе и не дотрагивался до нее. Может быть, оттого это так и приятно. Может быть, мне это и нравится лишь потому, что Папа никогда бы этого не позволил.

Через залив со скалистых островов донесся отдаленный вой сирены.

Селия услышала его, нахмурилась и повернула голову к морю, но быстро сгущавшийся туман уже скрыл острова. Селия не могла разглядеть их.

Уууу... — вновь прозвучал скорбный, настойчивый звук. Селия отступила на несколько шагов и принялась рассматривать дом, который только что закончила строить. Он был красивой формы, с окнами из ракушек и с дорожками из водорослей от двери к воротам. Чтобы найти двери и ворота, Селии пришлось немало потрудиться, она очень придирчиво выбирала камни нужной формы. Еще были мост и туннель. Туннель был проложен под садом и вел к дому. Было горько думать, что море разрушит дом, на строительство которого она не жалела труда. Подкрадется и песчинку за песчинкой унесет с собой. Это говорит только о том, что бесполезно делать недолговечные вещи.

Рисование совсем другое дело. Если нарисовать картину, ее можно положить в ящик и посмотреть на нее снова и снова, она всегда будет там, когда понадобится.

Хорошо бы иметь модель песочного домика и, возвращаясь домой, где бы ни был их следующий дом, в Париже, в Лондоне или где-нибудь еще, знать, что домик на месте, с другими вещами, которые она тайно хранила, сама не зная зачем, так, на всякий случай... «На какой случай?» — спрашивала Труда. «Так, на всякий случай», — отвечала Селия. Среди ее сокровищ были ракушки, гладкие зеленые камешки, засушенные цветы, огрызки карандашей, даже небольшие куски старых тросточек, которые она подбирала в Bois или в Гайд-парке и

приносила в отель или меблированные комнаты.

— Нет-нет, не надо это выбрасывать, — обычно говорила она.

Если она что-то подобрала, это должно сохраниться навсегда, стать сокровищем, которое необходимо беречь и любить.

Уууу... — снова завывала несносная сирена.

— Посмотри, Папа, — позвала она, — иди сюда и посмотри, какой хорошенький домик я построила для нас с тобой.

Он не ответил. Селия повернулась и побежала к тому месту, где он сидел. Его там не было. Его куртка, книга и полевой бинокль исчезли. Должно быть, пока она строила домик, он

поднялся и пошел домой. Может быть, она пробыла одна целую вечность и даже не знала об этом. Снова завывала сирена, туман подступил ближе и окутал Селию плотной пеленой.

Ее охватила внезапная паника. Она подобрала лопатку и побежала.

— Папа, — позвала она, — Папа, где ты?

Никто не ответил. Она не видела скал. Не видела дома. Все пропали, все ее бросили. Она осталась одна, и у нее ничего нет, кроме деревянной лопатки.

Она бежала, забыв, что она уже не маленькая девочка, что ей скоро исполнится одиннадцать лет, и, задыхаясь от бега, звала срывающимся голосом:

— Папа... Папа... Труда... Найэл, не оставляйте меня. Никогда не оставляйте меня, пожалуйста. — А неотступный вой сирены все звучал и звучал у нее в ушах.

Неожиданно он вышел из тумана у самых ворот сада, ведущих к дому. Папа в своей старой синей куртке и летней белой шляпе; он наклонился и поднял ее с земли.

— Привет, глупышка, — сказал он. — В чем дело?

Но все уже было неважно. Она нашла его. Она в безопасности.

¹⁶ Очко (карточная игра, *фр.*).

Глава седьмая

Пришли и ушли последние дни августа, наступил сентябрь. Скоро, через неделю или дней через десять, начнутся неизбежные сборы, и мы простимся с виллой. Будет грусть последних прогулок, последних купаний, последних ночей, проведенных в кроватях, к которым мы привыкли. Мы не поскупимся на всевозможные обещания cuisiniere¹⁷ и приходящей femme de chambre¹⁸ и станем уверять их, что «мы обязательно приедем на будущий год», хотя про себя отлично знаем, что это не так. Мы никогда не

снимали дважды одну и ту же виллу. Возможно, в следующий раз это будет Ривьера или Италия, и скалы и море Бретани станут для нас не более чем воспоминанием.

Мария и Селия жили вдвоем в одной комнате, Найэлу была отведена смежная с ней маленькая гостиная, поэтому при открытой двери мы могли переговариваться. Но в то лето мы не играли в наши старые, шумные игры, которыми увлекались еще год назад. Не носились в пижамах друг за дружкой по комнате, не прыгали по кроватям.

Мария по утрам была сонливой и зевала. «Не разговаривайте. Я сочиняю сон», — и она завязывала глаза носовым платком, чтобы солнце окончательно не разбудило ее.

Найэл по утрам сонливости не чувствовал, но садился в изножии кровати, которая стояла у окна, и смотрел через сад на море и скалистые острова. Даже в самые тихие дни море вокруг маяка никогда не бывало спокойным. Белые буруны постоянно разбивались о скалы, вода вскипала легкой, пушистой пеной. Труда приносила ему завтрак — кофе, круассаны и золотистый мед.

— О чем мечтает мой мальчик? — спрашивала она.

И получала неизменный ответ:

— Ни о чем.

— Вы слишком быстро взрослеете, вот в чем дело, — говорила она, словно взросление было внезапной болезнью, но болезнью в чем-то постыдной и достойной осуждения.

— Ну-ну, поднимайся. Нечего притворяться спящей. Я знаю, что ты меня дурачишь, — сказала Труда Марии. Она одним движением раздернула портьеры, и комнату залил поток солнечного света.

— Не хочу я никакого завтрака. Уходи, Труда.

— Что-то новенькое, да? Не хочешь завтракать? Вот пойдешь в школу, моя милая, так очень даже захочешь. Тогда не поваляешься в постели. И никаких танцев по вечерам и прочей чепухи.

Наслаждаясь завтраком, особенно теплыми круассанами, которые так и таяли во рту, Найэл размышлял о том, почему Труда, которую он очень любит, обладает удивительным даром вызывать раздражение.

Ну и пусть Мария лежит и мечтает, если ей так нравится; пусть Найэл сидит, скрючившись, у окна. Мы никому не мешаем, не нападаем на мир взрослых.

Взрослые... Когда же это случится? Когда произойдет внезапный и окончательный переход в их мир? Неужели это действительно бывает так, как сказал Папа, — за одну ночь, между сном и пробуждением? Придет день, обычный день, как все другие, и, оглянувшись через плечо, ты увидишь удаляющуюся тень вчерашнего ребенка; и уже не вернуться назад, не поймать исчезающую тень. Надо продолжать путь, надо идти в будущее, как бы ты ни страшился его, как бы ни боялся.

Господь, вспять поверни вселенной ход
и мне верни вчера!

Папа шутя процитировал эту строку за ланчем, и Найэл, посмотрев вокруг, подумал, что этот миг уже принадлежит прошлому, он прошел и никогда не вернется.

В конце стола Папа в рубашке с закатанными по локоть рукавами, его старый желтый джемпер с дырой расстегнут, глаза, очень похожие на глаза Марии, улыбаются Маме.

Мама с чашкой кофе в руке улыбается в ответ, холодная, бесстрастная. Когда все вокруг были веселы и возбуждены, Мама всегда держалась холодно и отчужденно; на ней розовато-лиловое платье и шифоновый шарф, наброшенный на

плечи. Она уже никогда не будет так выглядеть — скоро она допьет кофе, поставит чашку на блюдец и, как всегда, спросит Папу: «Ты кончил? Пойдем?» — и, оборачивая шарф вокруг шеи, направится из столовой на веранду, или, думал Найэл, из прошлого в будущее, в другую жизнь.

На Марии поверх купальника был надет свитер под цвет ее глаз, волосы еще не высохли после утреннего купания. Утром она наспех подрезала их маникюрными ножницами.

У Селии волосы были заплетены в косички, отчего ее лицо казалось еще более круглым и пухлым. Она надкусила шоколадную конфету, и оно вдруг стало задумчивым: конфета попала на пломбу, и пломба выпала.

Нет и никогда не будет фотографии,

думал Найэл, остановившей тот миг, когда мы пятеро вместе сидим за столом, улыбающиеся и счастливые.

— Ну и куда мы пойдём? — Мария встала из-за стола; очарование было нарушено.

Но я могу удержать его, сказал про себя Найэл, я могу удержать его, если не буду ни с кем разговаривать и если никто не будет разговаривать со мной. Он пошел за Мамой на веранду и молча смотрел, как она поправляет подушки на шезлонге, а Папа раскрывает зонт и укрывает ей ноги пледом, чтобы их не искусили комары. Мария неспешной походкой уже спускалась к пляжу, а Селия где-то в глубине дома звала Трудю, чтобы та снова вставила ей пломбу.

— Даже не знаю, кто растёт

быстрее, этот мальчуган или Мария, — сказал Папа и, улыбаясь, положил руку на плечо Найэла, потом спустился в сад и во весь рост растянулся на траве, заложив руки под голову и прикрыв лицо панамой.

— Скоро мы пойдем с тобой прогуляться, — сказала Мама, и мгновение, которое Найэл хотел удержать в себе на весь день, сразу отлетело. Теперь оно казалось мелким, незначительным, и он удивлялся тому, что еще несколько минут назад мог придавать ему такое значение.

— Я уйду, чтобы дать тебе отдохнуть, — сказал он и, вместо того чтобы по обыкновению пойти в гостиную и сесть за пианино, побежал в огород за домом, где мальчик,

помощник садовника, держал свой велосипед, вскочил в седло и выехал на дорогу. Его руки крепко сжимали горячий, блестящий руль, голые ноги в сандалиях, едва коснувшись педалей, ощутили неожиданную свободу и силу. Не обращая внимания на летящую в лицо пыль, он мчался по извилистой песчаной дороге.

В глубине дома Селия показывала Труде дыру в зубе, и та вкладывала в нее твердый кусочек зубной пасты.

— Придется тебе подождать, пока мы не вернемся в Лондон, — сказала она. — От этих французских дантистов мало проку. Хорошенько запомни и не жуй на левой стороне. Где Мария?

— Не знаю, — сказала Селия. — Наверное, пошла гулять.

— Ну уж не знаю, чего это ей вздумалось гулять в такую жару, — сказала Труда, — но сдается мне, что гуляет она не одна. Не ковыряй зуб, Селия. Оставь его в покое.

— Но мне там неприятно.

— Конечно неприятно. И будет еще неприятнее, если ты вытащишь пасту и заденешь нерв. Хорошо бы вам с Найэлом догнать Марию, а то того и гляди она угодит в какую-нибудь неприятность. Слава богу, что на будущей неделе мы уезжаем в Англию.

— Почему слава богу?

— Не твоего ума дело.

Как похоже на Труду — делать намеки и не объяснять, к чему она клонит. Селия потрогала пальцем нагревающийся утюг.

— По мне, так пусть Мария в воде делает все, что ей заблагорассудится, — сказала Труда. — Меня беспокоит, чем она занимается, когда выходит из воды. Девочке ее возраста не на пользу свобода, которую она позволяет себе с таким джентльменом, как мистер Лафорж. И куда только смотрит Папа?

Утюг был очень горячий. Селия едва не обожгла пальцы.

— Я всегда говорила, что с Марией мы не оберемся хлопот, — сказала Труда.

Из груды выстиранного белья она вытащила Мамину ночную рубашку и принялась ее гладить, осторожно водя утюгом. Маленькая комната наполнилась запахом горячего утюга и пара, поднимающегося над

гладильной доской. Хотя окно было широко распахнуто, не чувствовалось ни малейшего движения воздуха.

— У тебя плохое настроение, Труда,
— сказала Селия.

— У меня не плохое настроение, — возразила Труда, — но оно испортится, если ты будешь во все тыкать пальцами.

— Почему мы не оберемся хлопот с Марией? — спросила Селия.

— Потому, что никто не знает, что за кровь в ней течет, — сказала Труда.
— Но если та, что я подозреваю, то она еще заставит нас поплясать.

Селия задумалась, какая же у Марии кровь. Да, она ярче, чем у нее и у Найэла. Когда на днях во время купания Мария порезала ногу, то кровь, маленькими каплями

выступившая из раны, была ярко-красной.

— Она будет бегать за ними, а они за ней, — сказала Труда.

— Кто будет бегать? — спросила Селия.

— Мужчины, — сказала Труда.

В том месте, где утюг прожег ткань на гладильной доске, виднелось коричневое пятно. Селия выглянула в окно, словно ожидала увидеть, как Мария, танцуя, движется между скалами, а ее преследует большая компания мужчин.

— Против крови не пойдешь, — продолжала Труда. — Как ни старайся, она даст о себе знать. Мария сколько угодно может быть дочкой вашего Папы и унаследовать его талант в том, что касается театра, но

она еще и дочь своей матери, а то, что я про нее слышала, лучше не повторять.

Взад-вперед, взад-вперед двигался по ночной рубашке разъяренный утюг.

Интересно, подумала Селия, у матери Марии тоже была ярко-красная кровь?

— Всех вас воспитывали одинаково, — сказала Труда, — но вы, все трое, так же не похожи друг на друга, как мел на сыр. А почему? Да потому что кровь разная.

Какая Труда противная, думала Селия. И чего ей далась эта кровь?

— Вот Найэл, — продолжила Труда. — Вот мой мальчик. Вылитый отец. То же бледное лицо, те же мелкие кости, а теперь, коль он понял, что

может выделывать с пианино, так уж не бросит его. Хотела бы я знать, что думает об этом ваша Мама; что все эти недели творится у нее в голове, когда она слышит, как он играет? Уж если даже я перенешусь на много лет назад, то что говорить о ней?

Селия задумчиво посмотрела на простое, морщинистое лицо Труды, на седые, тонкие, гладко зачесанные волосы.

— Труда, ты очень старая? Тебе девяносто лет?

— Боже милостивый, — сказала Труда. — Час от часу не легче!

Она сняла с гладильной доски ночную рубашку, которая из бесформенной и мятой превратилась в тонкую и гладкую, хоть сразу надевай.

— За свою жизнь я много чего навидалась, но мне пока еще не девяносто, — ответила она.

— Кого из нас ты больше любишь? — спросила Селия, на что получила ответ, который уже не раз слышала.

— Я всех вас люблю одинаково, но тебя совсем разлюблю, если ты не перестанешь тыкать пальцами в гладильную доску.

Как они умеют отделаться от вас, эти взрослые, чтобы избежать прямого ответа на трудный вопрос.

— Если Мария и Найэл пойдут в школу, я останусь единственной, — сказала Селия. — Тогда и ты, и Папа, и Мама должны будете любить меня больше всех.

Она вдруг представила себе, как получает тройную дозу внимания;

такая мысль была для нее внове. Раньше она над этим не задумывалась. Она на цыпочках подкралась к Труде за спину и, чтобы досадить ей, завязала кушак ее передника тройным узлом.

— В избытке любви нет ничего хорошего, — сказала Труда. — Так же как и в недостатке. Если ты всю жизнь будешь просить слишком многого, то будешь разочарована. Что ты делаешь с моим кушаком?

Селия рассмеялась и попятилась от нее.

— Вы все трое жадны до любви, — сказала Труда. — Вы получили это в наследство среди прочих талантов. И уж не знаю, к чему это приведет, а хотелось бы знать.

И она попробовала утюг

МОЗОЛИСТЫМ ПАЛЬЦЕМ.

— Во всяком случае, мой мальчик за последние несколько недель наверстал упущенное. Кто-кто, а уж он-то изголодался, бедный малыш. Одна надежда, что она удержится. Если да, то он вырастет настоящим мужчиной, а не мечтателем. Может быть, оно случилось как раз вовремя, когда у нее начинаются трудные годы.

— Когда Найэл был голодный? — спросила Селия. — И что такое трудные годы?

— Не задавай вопросов — не услышишь неправды. — В голосе Труды вдруг зазвучало раздражение. — А теперь беги, слышишь? Выйди на свежий воздух.

Чтобы Селии было не так жарко,

Труда связала ей косы узлом на затылке и заправила ее короткое бумазейное платье в панталоны.

— А теперь, чтобы тебя здесь не было, — сказала она и слегка шлепнула Селию по пухлым ягодицам.

Но Селия вовсе не хотела выходить на свежий воздух. Да и свежим он совсем не был, а наоборот, слишком горячим. Ей хотелось остаться в доме и порисовать.

Она побежала по коридору к себе в комнату, за бумагой. В глубине шкафа были спрятаны пачка бумаги, которую она привезла с собой из Парижа, и ее любимые желтые карандаши «Кохинур». Она отыскала перочинный нож, подошла к окну и принялась точить карандаш; стружка

легкими хлопьями падала из окна, обнажая острый грифель, запах которого очень нравился Селии. С веранды под окном до нее долетали приглушенные голоса. Должно быть, Папа проснулся. Он сидел на плетеном стуле и разговаривал с Мамой.

— ...На мой взгляд, они еще слишком молоды и им рано начинать, — говорил он. — Да и все эти драматические школы никуда не годятся. Я гроша ломаного не дам ни за одну из них. Ну а если до того дойдет, пусть она всего добьется собственным трудом, как я и ты, дорогая. Вреда от этого не будет.

Должно быть, Мама что-то ответила, но ее слабый, тихий голос не долетал до окна, как голос Папы.

— Кто это говорит? Труда? — ответил Папа. — Вздор. Скажи ей, чтобы она не вмешивалась не в свои дела. Она просто пустая, вздорная старуха. Если бы речь шла о Селии, тогда...

Его голос стал тише, а скрип стула окончательно заглушил его. Селия помедлила и посмотрела на карандаш.

«Если бы речь шла о Селии, тогда...» Что Папа собирался сказать?

Она прислушалась, но смогла уловить только обрывки разговора, неразборчивые слова и фразы, которые не складывались в единое целое.

— Коли на то пошло, это относится к каждому из них, — продолжал гудеть Папин голос. — Если ничто другое, то само имя откроет им

дорогу. В них есть, есть искра, может быть, не более того. Во всяком случае, мы не доживем, чтобы увидеть... Нет, наверное, не первый класс. Он никогда не почувствует уверенности в себе, если ты ему не поможешь. Ты ответственна за него, дорогая. Что ты сказала?.. Время, одно только время покажет... Разве с нами было не так? Где бы ты была без меня, а я без тебя, дорогая? Конечно, он заразился и ничего другого не хочет, как и они, как мы с тобой... Ты меня научила, а может быть, мы друг друга научили тому, что в этом мире только две вещи имеют значение... если все рушится, то остается работа... Хотя бы это мы можем внушить им...

Селия отошла от окна. Во взрослых

это хуже всего. Начинают разговаривать, и ты думаешь, что они собираются сказать что-нибудь особенное, вроде: «Из них троих Селия самая славная» — или: «Селия будет очень хорошенькой, когда немного похудеет», но они никогда этого не делают. Уходят в сторону и продолжают говорить совсем о другом. Она села на пол, положила пачку бумаги на колени и стала рисовать.

Ничего большого. Только маленькое. Маленькие мужчины и женщины, которые живут в маленьких домиках, где они никогда не заблудятся, где никогда ничего не случится — ни пожара, ни землетрясения; и, водя карандашом по бумаге, она разговаривала сама с

собой. Миновал полдень, а Селия продолжала рисовать, закусив язык и подогнув под себя ноги; тогда-то и долетели до нее горестные крики, страшный отголосок которых с тех пор всегда звучал в ее ушах, подобно призыву из потустороннего мира.

Выйдя за ворота сада, Мария в нерешительности посмотрела сперва направо, потом налево. Справа был пляж и скалы, слева тропинка, ведущая к утесам и отелю.

Было очень жарко, самый жаркий день в году. Солнце нещадно палило непокрытую голову, но Марию это не беспокоило. Она не боялась солнечного удара, как Селия, и никогда не носила шляпу; даже если бы она пошла гулять нагишом, то не

сгорела бы. Ее кожу покрывал темный загар, даже темнее, чем у Найэла, притом что он черноволосый. Она закрыла глаза, раскинула руки, и ей показалось, что волна знойного воздуха поднимается снизу и захлестывает ее; из сада за ее спиной доносился аромат земли, мха и нагретой солнцем герани, в лицо веял запах самого моря, играющего и сверкающего под голубым небом.

Ее охватила радость. Та радость, которая всегда приходила внезапно, беспричинно и пронизывала все ее существо. Это чувство поднималось от живота к горлу, почти душило ее, и она никогда не знала, почему оно появляется, что его вызывает и куда оно исчезает так же быстро и внезапно, как появилось, оставляя ее

почти бездыханной, вопрошающей, но все еще счастливой, хотя и без бывшего экстаза. Оно пришло, оно ушло; и Мария стала спускаться по правой тропинке к морю. Горячий песок обжигал босые ноги. Она спускалась все ниже и ниже, и каждый ее шаг, каждое движение попадали в такт мелодии, которую она вполголоса напевала:

Кто куколка, кто солнышко?

Мисс Арабелла Смит.

Кто самый восхитительный?

Не знаете? Вот стыд!¹⁹

Каждую субботу ее играли в отеле на танцах; играли и вчера вечером. Маленький, плохо слаженный оркестрик, состоявший из пианиста и